

РОВЕСНИК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА

№ 7/85
Июль



НОВОСЛОБОДСКАЯ УЛ.
ПРОСПЕКТ МИРА
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР.
САДОВОЕ КОЛЬЦО
РУСАКОВСКАЯ УЛ.
ЩЕ
БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО
САДОВОЕ КОЛЬЦО
ШОССЕ ЭНТ
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ.
КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ
РЯЗАНСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКИЙ
МОСКВА - РЕКА
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР.
ИЧУРИНСКИЙ ПР.
ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПР.
ВЕРНАДСКОГО
ОФСОЮЗНАЯ УЛ.
МОСКВА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21



ФЕСТИВАЛЬНАЯ КАРТА МОСКВЫ

1. Красная площадь и могила Неизвестного солдата
2. Государственный академический Большой театр Союза ССР
3. Центральный стадион имени В. И. Ленина
4. Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького
5. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Международный студенческий центр
6. Выставка достижений народного хозяйства СССР. Центр охраны окружающей среды
7. Спортивный комплекс «Олимпийский»
8. Московский городской Дворец пионеров и школьников. Детский центр
9. В/О «Совинцентр» (Центр международной торговли). Центр мира и разоружения
10. Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Центр антиимпериалистической солидарности
11. Гостиница «Космос»
12. Дом союзов ВЦСПС
13. Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС имени Н. М. Шверника. Центр прав трудящейся молодежи
14. Московский институт стали и сплавов. Антифашистский центр
15. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Центр экономического сотрудничества, национальной независимости, развития и нового международного экономического порядка
16. Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. Центр Международного года молодежи. Центр прав женской молодежи
17. Московский автомобильно-дорожный институт. Центр по вопросам экономического кризиса и его социальных и политических последствий
18. Центральный Дом художника. Центр научной и творческой молодежи
19. Центральный Дом туриста. Центр, посвященный движению неприсоединения
20. Государственный центральный институт физической культуры. Спортивный центр
21. Гостиница «Орленок». Туристский центр



НАДЕЖДЫ И ТРЕВОГИ 80-х

В. МИШИН,
первый секретарь ЦК ВЛКСМ, председатель Советского подготовительного комитета XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов



29 ноября 1983 года на многотысячном антивоенном митинге молодежи в Москве на весь мир прозвучала инициатива Ленинского комсомола провести очередной XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в столице нашей Родины летом 1985 года. Эта инициатива явилась конкретным выражением высокой ответственности комсомола, всей советской молодежи за развитие фестивального движения, за воплощение в жизнь его целей, выраженных в лозунге «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!».

Невозможно переоценить значение предстоящего всемирного форума молодого поколения Земли в нынешней, крайне обострившейся международной обстановке. Как отмечалось на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, «по вине империализма международная обстановка продолжает оставаться тревожной и опасной. Человечество оказалось перед выбором: либо дальнейшее нагнетание напряженности и конфронтации, либо конструктивные поиски взаимоприемлемых договоренностей, которые остановили бы процесс материальной подготовки ядерного конфликта».

Все честные люди Земли прекрасно понимают, куда может привести попустительство империалистической политике агрессии. Поэтому набирает мощь демократическое, антивоенное, антиядерное движение, все новые слои населения планеты активизируют свое участие в общем деле борьбы за мир. В первых рядах борцов за безопасность жизни на Земле идет молодежь, которая видит в борьбе за мир гарантии своего будущего, связывает с успехом этой борьбы мечты и надежды. Молодое поколение требует прекратить безумную гонку вооружений, развертывание на Европейском континенте и в других частях мира ракетно-ядерного оружия. Молодежь и студенты выступают за отказ от применения, за запрещение и полную ликвидацию ядерного оружия, против разработки еще более чудовищных видов оружия массового уничтожения, за всеобщее и полное разоружение. Гонка вооружений безрассудно и преступно растрачивает материальные и человеческие ресурсы, в то время как перед человечеством до сих пор (и это в конце XX века!) стоят такие глобальные проблемы, как голод, нищета, неграмотность.

Демократическая, прогрессивная молодежь всех континентов высоко ценит твердый ленинский курс мира и мирного сосуществования, который проводит Советский Союз, признает огромный вклад КПСС, Советского государства в борьбу за предотвращение угрозы ядерной войны. Это доверие к миролюбивой политике нашей страны выразилось и в том, что кандидатура Москвы как фестивальной столицы встретила поддержку международных, региональных и национальных организаций молодежи и студентов, которые видят активную роль Ленинского комсомола, всей советской молодежи в сплочении борцов за мир из разных стран на антиимпериалистической, антимилитаристской основе, то есть на основополагающих принципах современного фестивального движения.

Две даты — 40-летие Великой Победы над гитлеровским фашизмом и 40-летие Всемирной федерации демократической молодежи, положившей начало фестивальному движению,— непосредственно связаны между собой. В Призыве к молодежи мира, принятом на первом заседании Международного подготовительного комитета XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, отмечалось, что фестиваль «созывается в стране, народ которой внес выдающийся вклад в разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма. Уроки минувшей войны не должны быть забыты... Против войны надо бороться, пока она не началась!»

Единым стремлением сберечь и за-

щитить мир были воодушевлены делегаты молодежи 63 стран, собравшиеся в ноябре 1945 года, в год Великой Победы, в еще не оправившемся от бомбежек Лондоне. От имени 40 миллионов юношей и девушек различных национальностей представители более 200 молодежных организаций заявили о своем стремлении «бороться за единство молодежи во всем мире, за единство молодежи всех рас, всех цветов кожи, всех национальностей и всех верований... бороться за уничтожение остатков фашизма на всей Земле... за глубокую, искреннюю дружбу народов, за справедливый и длительный мир, искоренение нужды и безработицы». На лондонской встрече была образована ВФДМ и принято решение о проведении первого фестиваля молодежи и студентов.

Молодежь мира с честью пронесла сквозь годы клятву, принятую на той, уже далекой, лондонской встрече. Опыт прошедших десятилетий убедительно доказал жизнеспособность и растущую популярность фестивального движения как важного фактора, содействующего укреплению сотрудничества и взаимопонимания между молодежными организациями различной политической ориентации. Ведь подготовка и участие в фестивалях помогают молодым людям объединить усилия в решении задач, волнующих всех, найти общее, что их связывает, наметить пути совместной борьбы за мир, за удовлетворение своих требований и интересов.

Прошедшие 11 фестивалей наглядно подтвердили, что у молодого поколения, составляющего, как известно, большинство населения планеты, нет более высокой трибуны, с которой оно могло бы заявить во всеуслышание о своих чаяниях и стремлениях, проблемах и надеждах, чем трибуна всемирных встреч.

История фестивального движения показала, что его идеи привлекают молодежь, потому что они ориентированы в будущее, учитывают опыт прошлого, сосредоточены на самых острых проблемах настоящего. А молодое поколение тоже всегда устремлено в будущее, которое ему строить, в котором жить и за которое нести ответственность перед своими детьми, и в конечном счете перед историей.

Под какими лозунгами выступала молодежь, какие требования выдвигала на предыдущих всемирных фестивалях, начиная со своей первой встречи в Праге в 1947 году! Искоренить раз и навсегда фашизм, остановить «холодную войну», прекратить агрессию в Индокитае, запретить испытания ядерного оружия, ликвидировать колониальные режимы в Азии, Африке и Латинской Америке, предоставить политические и экономические права молодому поколению. В этом, конечно, неполном перечне — важнейшие моменты борьбы прогрессивных демократических сил планеты. Но не только. В этом перечне и нравственные критерии — добра, свободы, справедливости, на которые ориентировалась молодежь.

Сейчас фестивальную эстафету приняла Москва. Прекрасной традицией подготовки к всемирным встречам являются фестивали советской молодежи. 12 июля 1984 года, в 60-ю годовщину присвоения комсомолу имени В. И. Ленина, навстречу XII Всемирному начался Всесоюзный фестиваль советской молодежи. Он насыщен множеством конкретных мероприятий. Все они — органичное продолжение Марша мира советской молодежи, кампании «Всемирные действия молодежи против ядерной угрозы, за мир и разоружение», Всемирной кампании ООН за разоружение.

Ленинский комсомол, все молодое поколение Советского Союза никогда не скрывали и не собираются скрывать свою активную роль в фестивальном движении, охватывающем представителей молодых людей всех рас и наций, самых разных социальных групп, классов, воззрений. Комсомол, используя свой авторитет, организаторский опыт, стремится помочь демократической молодежи мира в ее борьбе за свои законные права. Мы считаем, что честный человек не может быть спокойным и счастливым, если знает, что где-то существуют голод, социальная несправедливость, тирания и произвол. В высшей степени высоконравственная позиция советской молодежи и ее авангарда — ВЛКСМ — вызывает уважение у всех прогрессивных демократических сил мира.

Подготовкой к XII Всемирному охвачено большинство стран на всех континентах, в ней деятельно участвуют молодежные организации разной политической ориентации, на заседаниях МПК был отмечен небывалый размах фестивального процесса.

Программа XII фестиваля отражает проблемы, волнующие молодое поколение планеты: это борьба за мир; предотвращение ядерной войны и разоружение; антиимпериалистическая солидарность; права молодежи и студентов; безопасность и сотрудничество; экономическое сотрудничество, развитие, новый международный экономический порядок. Каждый день международного форума будет посвящен животрепещущей теме, затрагивающей жизненные интересы миллионов молодых. Один из дней фестиваля станет Днем Советского Союза — страны — хозяйки фестиваля.

Международный подготовительный комитет определил и такую важную форму проведения фестивальных мероприятий, как тематические центры, в которых состоятся дискуссии и встречи, конференции и «круглые столы», митинги солидарности, концерты и выставки по разнообразной тематике. Особое значение в год 40-летия Победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом придается работе антифашистского центра. С трибуны XII Всемирного демократическая молодежь планеты выступит с разоблачением преступной деятельности сил империализма и реакции против независимых государств и народов.

Московский фестиваль демонстрирует могучую силу солидарности со справедливой борьбой народов Центральной и Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии, Африки, Средиземноморья и Ближнего Востока за мир, свободу, национальное освобождение, независимость и суверенитет, социальный прогресс.

XII Всемирный наглядно показывает приверженность молодежи и студентов духу и букве Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, десятилетие которого отмечается в 1985 году.

Подготовка и проведение встречи в Москве — важный вклад в реализацию задач Международного года молодежи, провозглашенного Организацией Объединенных Наций. Цели Года молодежи близки нам, они всегда находили и находят отражение в фестивальном движении, выступающем за право на жизнь, за обеспечение политических и социально-экономических прав молодого поколения, включая право на труд, получение образования, медицинского обслуживания, доступ к культурным ценностям и спорту.

Хотелось бы подчеркнуть еще один аспект московской встречи. Это, как уже говорилось, знакомство, открытие для разноплеменной молодежи мира реальностей социализма. Мы уверены (и не скрываем этого), что молодежь мира, собравшись на свой праздник в Москве летом 1985 года, сможет сама, собственными глазами увидеть, что главное из преимуществ социализма заключается в том, что социализм открывает перед трудящимися массами, как писал В. И. Ленин, «возможность *работы на себя*, и притом работы, опирающейся на все завоевания новейшей техники и культуры».

Конечно же, было бы наивно полагать, что у предстоящего Московского фестиваля нет противников. Правые молодежные организации, находящиеся на содержании администрации и спецслужб США, развернули активные действия, направленные на подрыв авторитета прогрессивных и демократических молодежных организаций, ослабление антивоенного движения, на сколачивание на международной молодежной арене антисоциалистического блока. Однако, как убедительно свидетельствует история, несмотря на происки реакционных кругов Запада, успешное проведение всемирных форумов способствует вовлечению в антиимпериалистическую борьбу все новых отрядов молодого поколения планеты. В современной сложной международной обстановке, когда мир нужно защитить мощными, сплоченными силами человеческого разума, благородные идеи фестивального движения объединяют всех тех, кто не желает видеть военного пожара, кто хочет мирного неба над головой, всех, кто верит в справедливость и счастье.

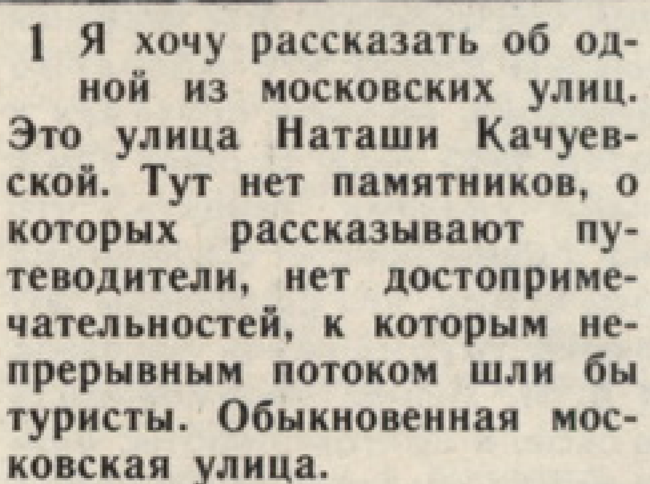






СЕСТРИЧКА

Катарина САЭС,
студентка факультета
журналистики
Университета дружбы
народов имени
Патриса Лумумбы



1 Я хочу рассказать об одной из московских улиц. Это улица Наташи Качуевской. Тут нет памятников, о которых рассказывают путеводители, нет достопримечательностей, к которым непрерывным потоком шли бы туристы. Обыкновенная московская улица.

Мне нравится эта улица. Она лежит между улицей Воровского и улицей Качалова, двумя другими старыми московскими улицами, которые, однако, шире и солидней ее. Она как их младшая сестра; в самом облике ее есть задумчивость. Оживленный поток улицы Герцена вдруг прерывает задумчивый тихий ход улицы Наташи Качуевской, но вот мы перебрались на тот берег и снова углубились в тишину. И слева нам открылся московский двор-сад, где между деревьев краснеют и синеют ярко детские качели и скамейки и в белом кругу фонтана стоит желтый мишка и держит в лапах желтую форель.

Это улица театральная, хотя на ней нет ни одного театра. Но в высоком доме-башне из светлого кирпича — редакция журнала «Театр». Неподалеку во дворе витражи в окнах и стеклянные двери. В маленьком доме один из интерклубов фестиваля.

2 Наташа Качуевская хотела быть актрисой.

Школа, в которой училась Наташа, была рядом, на улице Герцена. В школе был драмкружок. Неподалеку, в Собиновском переулке, ГИТИС — институт театрального искусства. Студенты приходили в драмкружок и помогали ставить скетчи. Одним из студентов был Юлий Шуб. На нескольких репетициях он ставил Наташе Качуевской движение и жест. Сейчас Юлий Германович Шуб каждый день приходит на улицу Наташи Качуевской. Он заместитель главного редактора журнала «Театр». Он вспоминает, делая долгие паузы между предложениями:

— Ставили скетч «На старой даче». Невероятно закрученная интрига. До конца неясно, кто шпион — она или он. Наташа была способная девушка. Данные у нее были, безусловно. Живая. Веселая. Задорная.

В редакции журнала «Театр», в высоком доме светлого кирпича на улице Наташи Качуевской, работает еще один человек, знавший Наташу в довоенные годы, Ольга Сергеевна Дзюбинская.

— Я ее помню на одном из экзаменов. Правда, мы на разные факультеты поступали, она на актерский, я на театроведческий. Пришла в тюбетеечке, в футболке. На экзамен она пришла с сорванным голосом, я тогда подумала: «Как же она читать будет?» Комиссия тоже удивилась сорванному голосу и спросила: «Вы кем вообще работаете?» — «Я вожатой работаю!» — «Все ясно!» И она читала громким шепотом. Ее приняли.

У нее было очень милое лицо с ямочками. Очень светлая кожа. Темные глаза. Внешне она была хороший, обаятельный ребенок. Не знаю, стала бы она актрисой на героические роли, вряд ли. У нее скорей были данные комедийно-лирической актрисы. Но в жизни в ней все время проявлялось что-то очень активное.

На первом курсе она была секретарем комсомольской организации. Она у меня взносы собирала.

Из маленького кожаного бумажника Ольга Сергеевна достает свой комсомольский билет, открывает его на странице, где отмечены взносы с марта по август 1941 года. Билет в серой твердой обложке и с яркими, непотускневшими страничками, будто совсем новый. Чернила тоже не выцвели. Ровным столбиком идет цифра 140 — это стипендия, цифра 60 — это взносы. И шесть чернильных, ярко-синих, сияющих подписей Наташи.

3 Есть предвоенная фотокарточка, где Наташа Качуевская сидит за столом, держа чашку чая в полной округлой руке. На ней платье в цветочек. У нее высокий чистый лоб и волосы разделены на пробор. На столе рядом с Наташей, как два ее маленьких друга, повернув к ней носики, стоят два чайника — заварочный белый и сияющий большой. Подняв свое круглое лицо хорошего веселого ребенка к объективу, девушка улыбается не вполне естественной, а впрочем, милой улыбкой. И лицо ее, и вся фотокарточка с чайниками — все дышит теплом мирной жизни. Это 1941 год. В конце первого курса и в начале второго Наташа Качуевская уже готовилась к первой своей роли: в студенческом спектакле она должна была играть жену Андрея Наташу в «Трех сестрах» Чехова.

4 В прифронтовую полосу она сначала попала вместе с отрядом студентов ГИТИСа, посланным рыть окопы под Вязьмой.

«Вязьму беспрерывно бомбили. Мы увидели огромные воронки, людей, оставшихся без крова. На маленькой привокзальной площади скопилось множество народа. Я увидела, что в этой, казалось бы, полной неразберихе все как-то организуется. На самом бойком месте, где скопилось много автомашин и людей, я увидела не командира и даже не просто военного, а девушку в черном сатиновом комбинезоне. Осунувшаяся, усталая, охрипшая, она громким сиплым шепотом отдавала распоряжения шоферам, руководила эвакуацией. И столько было уверенности, твердости в ее словах и жестах, что все ее слушались. Это и была Наташа». Такой видела ее под Вязьмой в 1941 году ее школьная подруга Мирра Вайнберг.

Потом она закончила курсы медсестер. Она выхаживала раненых в московских госпиталях. Какое-то новое чувство зрело в ней — к лету 1942 года она уже совсем не девочка-ребенок с круглыми щеками, даже внешне она изменилась разительно. На фронтовой фотокарточке у нее худое лицо, плотно сжатые губы и напряженный взгляд. Грудь перетянута портупеей, на затылке берет. Лицо все то же, тот же лоб, брови, прямой нос,— но и другое: «повидавшая смерть», как сказала об этой фотографии Ольга Сергеевна Дзюбинская. А чувство, которое зрело в ней и давало ей силу выдержать ад фронта,— это была ненависть. Письма Наташи с фронта как будто сделаны из этой непробиваемой, как бетон, ненависти к врагу; но вдруг, в конце письма, эта мощная бетонная плита отходит чуть-чуть — и под ней растерянная, по-детски лепечущая душа девочки, которой плохо без мамы.

5 *«Не забывайте нас, ушедших на фронт. Сообщайте о себе, о работе. А наша жизнь известная: били гитлеровцев и будем бить их до тех пор, пока не уничтожим. Тогда и вернемся».*

«Наша часть била гадов-фрицев крепко, по-гвардейски, а потом мы были на отдыхе. А сейчас опять они от нас начнут получать по первое число. Так и надо этой погани за то, что нарушили нашу мирную жизнь, разбросали нашу дорогую семью во все стороны. Вот от Пал Палыча (муж Наташи) нет ни слуху ни духу. Я буду мстить фашистам за своего мужа, за все мне, гады, ответят. Хочу быть снайпером, чтобы как Людмила Павличенко самой убивать фашистов. А пока я, как за родными братьями своими, ухаживаю за нашими ранеными. Они меня тоже, как сестру свою, любят, говорят: «Сестричка наша, Наташа...»

«Мамочка, если ты получила уже мое фото, то никому его не показывай. Я совсем уж не такая измученная и страшная, как на карточке. Сейчас я гвардии медсестра... Ты, мамуля, еще услышишь обо мне. Мамочка, солнышко мое, как мне тоскливо без тебя. Но если я вернусь, мы никогда с тобой больше не расстанемся. Письма твои идут так долго, а от Павла совсем ничего нет. Неужели с ним что случилось?»

«А победу эту мы у Гитлера с горлом вырвем, с кровью...»

«Мамочка, моя родненькая, солнышко мое, возьми на воспитание мальчонку или девочку погибших на войне родителей. Обо мне не беспокойся».

«Ненависть жжет наши сердца. Сегодня я видела пять сирот — чудесные ребятишки. Младший — Вовик двух лет, вылитый наш Андрюша. (Мальчик, которого Наташина мама взяла на воспитание. У него погибли родители.) Они жили здесь, где проходит теперь фронт. Немцы заняли их деревню, убили мать и отца. Вовик, понимаешь, потянулся ко мне и говорит: «Мама!» Я не плакала, но ненависть переполняет меня за все — за тебя, за разбитую нашу молодую жизнь, за ГИТИС, за всех любимых наших родных, у которых жизнь тоже покалечилась, и за этих вот детишек, за Вовку, который на меня говорит: «Мама!»

Солнышко, пиши все-все. На клочках, на открытках, на обрывках. Я буду писать почти ежедневно, хотя жизнь наша — одни и те же события, но я знаю ведь, что и ты ждешь моих писем, что мамочка любит свою курносую сумасшедшую дочушку...»

6 20 ноября 1942 года у села Халхута, в степях южнее Сталинграда, гитлеровцы атаковали авиадесантную бригаду, в которой служила Наташа Качуевская. Подробности этого боя немногочисленны. Наташа вынесла из боя семьдесят раненых и сама была два раза ранена. Группу тяжелораненых она уводила в тыл. По дороге они наткнулись на фашистских солдат. Наташа перетащила раненых в забытый блиндаж в степи, отстреливалась и бросала гранаты. Через пятнадцать лет после войны нашли блиндаж, в нем останки. Сумка медсестры. Полуистлевшая шинель, в карманах которой билетики московского метро и перламутровые пуговички...

7 Дом, в котором интерклуб фестиваля, был отреставрирован руками ребят, живущих в Краснопресненском районе столицы. Это маленький старый дом в два этажа, в пять окон по фасаду. Проект реставрации сделали студенты архитектурного института. На первом этаже кафе на несколько столиков, комната, где на стенах художники вывешивают свои работы. На втором этаже зал, ниша с роялем, гостиная. Старшеклассники близлежащих школ и комсомольцы предприятий района сами вели здесь даже сложные работы — настилку полов, лепнину потолка. Даже паркет клали сами.

Интерклуб — это маленький эстрадный театр. Вы придете сюда, и тут поэты будут читать свои стихи, и с маленькой сцены будут петь ансамбли. О чем будут песни? О любви, о мире — и о войне...

Интерклуб — это еще и театр общения. Вы придете сюда не только слушать, но и говорить. Вы познакомитесь тут с теми ребятами, что своими руками отреставрировали этот старый дом. И тут будет весело. Вспыхнут цветные лампы, загремит музыка! Густым красным и синим переливаются витражи. Кофейный аппарат внизу, в кафе, наливает одну за другой чашечки раскаленного ароматного кофе. И идет разговор — люди из разных стран мира пришли сюда, в маленький дом на улице, названной в честь Наташи Качуевской, девушки, погибшей на войне, чтобы получше узнать друг друга, чтобы ощутить себя сильнее оттого, что в другой стране, на другом континенте у тебя есть друг.

МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗДЕСЬ

Линн ДЖОУНЗ

(Дневник участницы лагеря мира Гринэм-Коммон)



НА СВОБОДЕ

Понедельник. Вчера вечером, после того как большинство посетителей ушли и стало холоднее, полицейские начали тушить наши костры. Они обходили лагерь каждые десять минут и заливали костры, но после двух или трех «обходов» стали терять терпение. Один раздраженный полицейский даже не смог дождаться, пока мы вновь разведем огонь. Он подошел и направил мощный огнетушитель (которыми снабжают английскую полицию американские военные с базы военно-воздушных сил США) прямо в спину Беатрис, которая заканчивала свой ужин, сидя перед дымящимися углями.

Вторник. Проснувшись, я обнаружила, что небольшая армия полицейских окружила нас, а группа явно нервничающих судебных исполнителей осторожно приближается к палаткам. Начав «выселять» нас, полиция столкнулась с тем, что женщин в лагере у Желтых ворот стало не только больше, но они «распространились» на более обширном пространстве. Это вызвало бурное раздражение. Все палатки, оказавшиеся на территории, подлежавшей «очищению», были снесены, женщин выгнали под проливной дождь. Каждый раз, когда появляются судебные исполнители, нам приходится вручную перетаскивать в другое место свои пожитки.

Среда. Мы обнаружили, что кто-то уничтожил садик, за которым с любовью ухаживала Клер и который не тронули даже судебные исполнители. Маленькие зеленые росточки были поломаны и растоптаны. Что же это за люди, которым понадобилось выместить на нарциссах свое чувство ненависти! Все это не ново. Другие лагеря подвергались «выселению» ежедневно в течение двух недель и прекрасно приспособились к таким условиям существования.

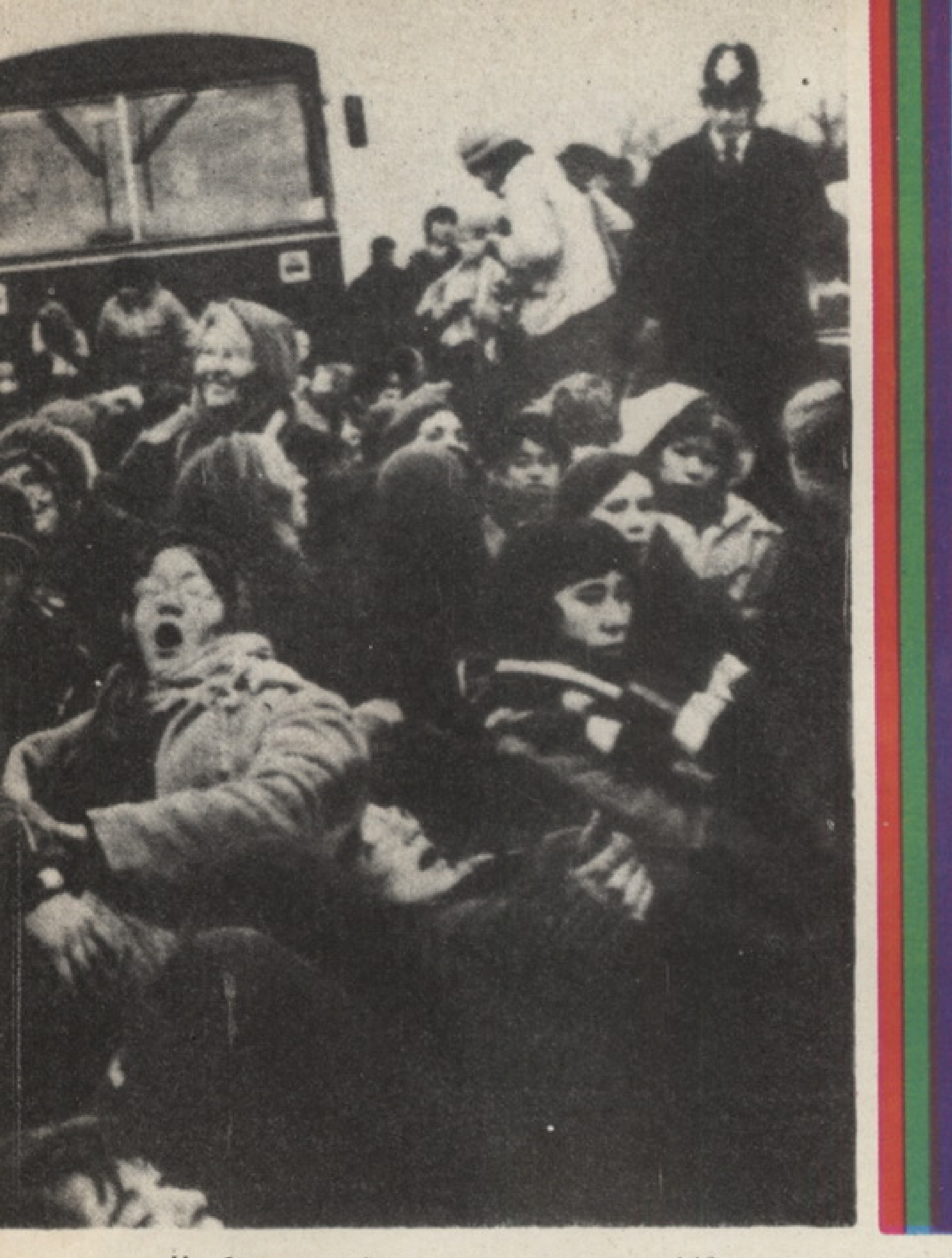
Четверг. Мы расположились возле Фиолетовых ворот. Утром меня разбудила Роуэн, подала чашку чая и заметила, что судебные исполнители сейчас подошли к Голубым воротам, поэтому у нас масса времени — разобрать и упаковать палатки. Один из плюсов «выселения» лагерной стоянки возле Желтых ворот заключается в том, что несколько ослабилось давление на стоянки около других ворот. Именно эта неизменная способность женщин быстро приспосабливаться к обстоятельствам и «обтекать» возникающие препятствия делает всю операцию по «выселению» лагеря мира примерно такой же эффективной, как осушение озера с помощью рыболовной сети.

Пятница. Утром женщины, которым надоело выслушивать указания убрать «лагерное оборудование», встретили полицейских чистой скатертью, вином, сыром и фруктами (все это было пожертвовано участницам лагеря сочувствующими гражданами). «Мы превращаем женский лагерь мира в женский пикник мира»,— заметила Хейзел. «Он будет продолжаться до тех пор, пока они не уберут отсюда ракеты»,— добавила Сара. «Все остается по-прежнему!», «Полны решимости!», «Лагерь мира женщин-беженцев» — подобные плакаты и надписи свисают с изгородей и деревьев вдоль всего девятимильного забора.

И, как всегда, возникает новая песня: «Выливая мой чай, полисмен сказал: эта земля — не для людей, а для ракет и солдат...»

В газетах появились «некрологи» по нашему лагерю — от мелодраматического в «Миррор» до гаденькой статейки в «Дейли телеграф». Не могу избавиться от странного ощущения, что все они написаны заранее. Возможно, полиция надеялась, что если объявить, будто нас больше нет в Гринэм-Коммон, то мы и впрямь исчезнем, как дурной сон. Реальность, однако, состоит в том, что, пока кошмар на базе продолжается и нарастает, мы будем продолжать свою борьбу. Мы будем продолжать, добиваясь кратковременных побед, привлекая к себе полезное, но утомительное внимание средств массовой информации всего мира и, что самое главное, создавая все более организованную сеть сопротивления.

Суббота. Полиция закрыла дорогу, ведущую к Желтым воротам. Мы уговариваем прохожих (знакомых и незнакомых) подойти к загради-



На британской земле расположено 140 американских военных баз и объектов. Ракетная база Гринэм-Коммон близ городка Ньюбери одна из них. Уже четвертый год здесь стоит лагерь мира английских активисток антивоенного движения. С осени 1983 года, с началом размещения американских ракет в Англии, правительство резко усиливает репрессии против мирных манифестантов, но английские женщины намерены продолжать борьбу — пока не добьются вывоза американского ядерного оружия с британской земли.

тельному барьеру и вежливо попросить полицейского разрешить пройти или проехать по этой общественной дороге. (Иначе придется делать длинный объезд.) Многочисленным пропыленным жителям лагеря мира было отказано в таком разрешении, Саре Бонд из «Дейли экспресс» — тоже отказано, зато лорду Лонгфорду — позволено проехать.

Лорд Лонгфорд тут же поспешил заявить мне — он проедет по дороге, но это отнюдь не значит, что он поддерживает нас. «Когда все это кончится!» — с некоторым раздражением спросил меня лорд. Я ответила, что история не знает примеров, чтобы победа в борьбе ненасильственными методами достигалась легко или быстро. И что перемены возможны только тогда, когда люди начнут претворять свои убеждения в действия.

Воскресенье. Ио и Джейн выступили на многолюдном митинге женщин, посетивших лагерь: «Теперь уже недостаточно говорить, что вы благодарны нам за то, что мы действуем здесь от вашего имени. Мы не можем сделать это за вас, вы сами должны начать действовать»,— заявили они. После митинга примерно пятьдесят женщин перешли через дорогу, перелезли через изгородь и расположились на земле, принадлежащей министерству транспорта. За два часа, пока полиция не выгнала их оттуда, они разожгли костер, построили навес и вывесили плакат: «Да, мы по-прежнему здесь».

В ТЮРЬМЕ

Понедельник. В полдень нас привезли в эту тюрьму. Здания из кирпича, выкрашенного в цвет меда, выглядели бы как современный жилой комплекс, если бы не зарешеченные окна, двойные ворота под электрическим током и высокая изгородь с колючей проволокой наверху. Изгородь напомнила мне Гринэм. «Ну что, принесли с собой свои кусачки!» — спросил один из полицейских.

Нас было четверо — Катрина, которая уже попадала сюда раньше, Алексис, Анна и я. Мы должны были отсидеть в тюрьме неделю за отказ уплатить штраф. Находясь в приемной, мы видели через стеклянные двери женщин, которые ждали, пока им окажут медицинскую помощь. Среди них была Сара, бледная и осунувшаяся от голодовки. «Она вредит только себе самой,— заметил полицейский, проверявший мои вещи.— Никому нет дела до того, что она голодает. Это бессмысленно». Было очевидно, что голодовка заключенной беспокоит его.

Мне вернули одежду и выдали зеленую брошюрку с тюремными правилами и белый листок бумаги, где был указан режим существования в тюрьме. «Не обращайте внимания на эту бумажку,— заявила какая-то рыжеволосая женщина.— В тюрьме не хватает обслуживающего персонала — и они поступают с нами как хотят».

Один из полицейских отвел меня в камеру: зеленые стены, кровать, раковина. Символы движения за мир, нарисованные на стенах, свидетельствуют, что и до меня здесь бывали женщины из Гринэма. «Все в порядке, детка!» — спросил полицейский. «Да, спасибо»,— ответила я, удивленная вопросом. Тяжелая дверь без ручки, с крохотным узеньким окошком с грохотом захлопнулась.

Вторник. Кажется, обо мне все забыли, сижу в камере и думаю, как там, у Желтых ворот!

Среда. Сегодня утром меня повели в очередь за завтраком, ко мне подошла Сара. Она сказала, что ее на сутки посадили в карцер за то, что она настаивала на своем праве читать газету. Сара выглядела измученной.

Я начинаю понимать выражение «убивать время». Время действительно превращается в нечто осязаемое, тяжело давящее на тебя, притупляющее все чувства. Жизнь становится отрезками времени между звуками ключа, поворачивающегося в двери. Радует все, что может нарушить монотонность здешнего существования. Я пытаюсь заставить себя думать, но вместо этого ловлю себя на том, что либо дремлю, либо рассеянно гляжу в узкие полоски стекла в бетоне, из которых состоит окно.

Вечером меня повели по темному коридору в «комнату для общения». Холодное убогое помещение было наполнено женщинами. К. взяла под свое покровительство всех женщин из Гринэма. Она подсела к нам. «Магазинное воровство,— ответила она на неизбежный вопрос, почему оказалась в тюрьме.— Не умирать же с голоду. Кстати, если вы, женщины из Гринэм-Коммон, заполните все тюрьмы, нас некуда будет сажать!» Она расхохоталась. Обитательницы тюрьмы говорят о своих преступлениях коротко: «подделка чеков», «бродяжничество», «воровство в магазинах». Трое отбывают здесь пожизненное заключение и еще несколько — длительные сроки. Отношение заключенных к нам колебалось от доброжелательного равнодушия до активной поддержки. Участницы Гринэма прибывают в тюрьму так часто, что все ее обитательницы хорошо информированы о событиях «на воле».

Четверг. Сегодня нас послали на работу. Пожалуй, это первый случай в моей жизни, когда я воспринимаю как привилегию мытье полов. Анна и я работали вместе в верхнем коридоре. Сначала мы были чрезвычайно добросовестны: подметали, скребли пол щеткой и только потом протирали. Скоро мы обнаружили, что все остальные просто протирают пол мокрой тряпкой, тем более что наше усердие никак не меняет вид серого в полоску линолеума. Зато у нас осталось время на болтовню. В тюремной работе есть своя иерархия — низшая ступень — мойщицы коридоров, верхняя — те, кто работает в библиотеке, и санитарки в лазарете. Продвижение вверх достигается хорошим поведением и длительным сроком. Женщины из Гринэма в основном моют полы. Когда мы сидели на ступеньках лестницы и читали К. письмо от сестры (са-

ма она не умеет читать), к нам подошел полицейский: «Вы, девушки, уже закончили!» — «Да»,— ответила К. «Я сказал «девушки», а не «заключенные».

После обеда нас снова заперли по камерам. Я страдаю здесь вовсе не от физических неудобств. В камере мне гораздо просторнее и теплее, чем в палатке у Желтых ворот. Мучительно другое — бесконечные, казалось бы, незначительные мелочи, унижающие человеческое достоинство: обыск с раздеванием, который проводят одетые в униформу полицейские; обращение ко всем независимо от возраста как к «деткам», «милочкам» или «крошкам» явно ставит нас на низшую ступеньку в иерархии человеческих отношений. Вся наша жизнь выставлена напоказ, за нами наблюдают сквозь дверь в глазок, о каждой мелочи надо просить, не имея никаких гарантий, что просьба будет выполнена.

Пятница. Я начала принимать болеутоляющие таблетки от радикулита — это единственное, что я смогла придумать, чтобы дважды в день пройтись по коридору. В очереди за медикаментами все были неспокойны и в плохом настроении из-за того, что провели еще один день взаперти. Полицейские болеют, и нас не выпускают из камер. «Хотя бы на кухню пускали работать»,— сказала женщина в резиновых сапогах и грязном фартуке, спутанные рыжие волосы стянуты сзади лентой, цвет лица бледный, как и у всех, кто провел здесь несколько недель. Она скрутила папиросу, аккуратно расщепила спичку, которую держала в руке, и положила половинку обратно в коробочку. «Почему вас не отправили в Холлоуэй!» — спросила она меня. «Там все переполнено».— «Я думаю, это потому, что после Нового года все особенно нуждаются».— «Простите, не поняла!» — «Все нуждаются,— повторила она терпеливо,— а потому начинают красть».

В тюрьме никогда не бывает тихо, даже ночью. Здесь стоит постоянный гул женских голосов, выкриков, журчащей воды. Этот шум все нарастает и нарастает, наконец мне начинает казаться, что только я одна осталась в камере, а все остальные вышли в коридор. Но это всего лишь заключенные кричат что-то друг другу из своих камер.

Суббота. Нас выпустили из камер на все утро. Получился настоящий праздник. Из своих камер выскочили Вуу и Тим и кинулись обнимать меня. Накануне их шесть часов везли сюда в клетках, впихнутых в полицейский фургон. Таким образом достигается «экономия сил» полицейских. Тим очень высокого роста, а значит, все шесть часов ее колени были подтянуты к груди, а голова согнута.

Воскресенье. Сегодня утром Н. сказала мне, что слышала по радио, будто власти определенно решили в понедельник снести весь наш лагерь. Все утро я пыталась решить, что мне делать: остаться в тюрьме из принципа или же заплатить остаток штрафа и вернуться в лагерь. Вуу и Тим считают, что ни за что нельзя платить властям ни пенни штрафа — мы не делаем ничего противозаконного. Но они отбыли свой срок и завтра уходят отсюда.

В конце концов я решила, что это невыносимо — сидеть здесь и думать, уничтожен лагерь или нет, и что я смогу быть более полезной там. «Можно ли мне позвонить, чтобы привезли деньги!» — «Нет, сегодня воскресенье. Завтра вам нужно будет попросить разрешение у начальства».— «Могу я поговорить с начальником сегодня!» — «Нет!» Дверь камеры захлопнулась, оборвав дальнейшие просьбы.

Я села, взбешенная, злясь на саму себя. Каково было женщинам, замученным и «исчезнувшим» в Чили, Сальвадоре, ЮАР! Каково женщинам, которые проводят здесь месяцы и годы во имя идеалов добра! И что значат по сравнению с этим еще два дня, которые мне придется прожить в тюрьме!..

Сегодня вечером, второй раз за неделю, нам разрешили общение между собой. Я сидела и разговаривала с Б. Она находится в тюрьме уже восемь лет за то, что якобы позволила делать бомбы у себя на кухне. Спокойная, излучающая тепло женщина средних лет вязала детский свитерок. Слушая ее, невозможно было поверить, что она виновна. «Я не стала просить снисхождения, потому что верила, что смогу доказать свою невиновность. И вот я здесь». В течение восьми лет она добивается, чтобы ее дело было пересмотрено. «Ну конечно же, я не делала того, в чем меня обвиняют. Я даже не знаю, что такое нитроглицерин. Я никогда не обращусь к насилию. Просто полиции нужны были жертвы-ирландцы, вот они и схватили меня. Я помню, как полицейский сказал — ведь сначала меня обвинили в убийстве: «Ты, ирландская дрянь, если мы не засудим тебя за убийство, засудим за что-нибудь еще!» Они не допустят нового судебного разбирательства, потому что боятся, что им придется выплатить компенсацию. Но мне не нужны деньги, все, чего я хочу,— это справедливости. И если придется добиваться ее всю оставшуюся жизнь, я готова».

Я смотрела на фотографии ее детей, которые выросли и поженились, пока она была в тюрьме, и восхищалась силой ее духа. «То, что делаете вы, женщины из Гринэм-Коммон,— сказала она,— это единственная возможность что-то изменить».— «Вы не кажетесь озлобленной, какой была бы я на вашем месте».— «Я не озлоблена,— ответила она,— я просто оскорблена, глубоко оскорблена».

Понедельник. «Звонить нельзя, начальник занят». Время — половина одиннадцатого. Телефон стоит между мной и полицейским. Теперь, когда я приняла решение покинуть тюрьму, каждая потерянная минута меня раздражает. Наконец телефонный звонок состоялся. Да, мои друзья приедут за мной.

Сегодня мы работали, нас даже осчастливил странным визитом капеллан, болтавший о том, как отметила день рождения его жена.

Прощальный обыск был довольно странным. Меня заставили раздеться догола и попросили показать подошвы ног, но одежду и книги запихнули в сумку, не проверяя. «Надеюсь, у вас нет жалоб, в противном случае это займет гораздо больше времени». Мне сунули бланк, и я подписалась под словами «жалоб нет». Я миновала женщин, улыбавшихся и махавших мне из дверей лазарета, и вышла в холодный, сырой февральский день.

«Возвращайся поскорее!» — прокричали мне. «Вполне возможно»,— ответила я.

Революции XX века ввели в обиход слово «масса». Это не определение толпы. Это множество людей, одинаково воодушевленных революцией. Но это множество разных, совершенно отличных друг от друга людей.

Это важно знать заранее. Прежде чем те, кто увидит Страну Советов впервые во время нашего фестиваля, прибудут в Москву,— им это необходимо понять, чтобы в московской толпе прохожих видеть потомков той трудящейся *массы*, которая свершила революцию. Вы, те, кто приедет, должны видеть лица. Такие похожие на вас, но совершенно особенные лица людей, у которых у каждого своя семейная история революции.

Революция не лишала людей лица. Она лишь точнее обнаруживала заложенное в лице и в душе. Я поняла это в Москве. Именно в Москве, понемногу узнавая кое-что из истории революции, я начала задумываться вот над какой мыслью: путь человека в революцию не может быть «простым», «банальным» либо «оригинальным»... В революцию нельзя прийти, скажем, неожиданно для самого себя, внезапно и т. д. Революция, как судьба, свершалась еще и в отдельности для каждого человека. Как возвеличивала она того, в чьей жизни свершилась. И сколько несвершившихся революций было.

И поэтому не толпа, а масса плотно сдвинувших плечи.

Масса равняющих шаг.

Каждого в московской радостной толпе встречающих фестиваль достаточно спросить: кто были твои предки?— чтобы открылась какая-нибудь удивительная история, которая не может оставить равнодушным.

Такого прошлого нет больше ни у кого в мире.

Я узнала о двух судьбах, которые могли в любой другой стране быть сочтены совершенно удивительными, а здесь таких судеб была масса.

Фабрикант Николай Шмит, зарезанный в Бутырской тюрьме царской охранкой, и великий астроном Штернберг, забывший свою астрономию при виде развалин революционной Красной Пресни...

Они жили почти что рядом, но друг друга не знали. Поскольку были из разных миров — фабрикант и астроном. Но в будущем они непременно бы сошлись.



С ТАКИХ НАЧИНАЛСЯ НОВЫЙ МИР

Мария Магдалена БЕРНАРДО,
студентка факультета журналистики Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Район Красной Пресни я неплохо знаю, потому что живу в Москве не первый год, а нигде так хорошо не гуляется, как на Красной Пресне, в ее скверах и по ее брусчатке, так старинно цокающей.

Там еще есть зоопарк, и мы туда ходили.

Там детский парк на месте расстрелянной врагами фабрики Николая Шмита. А что на месте Штернберговой обсерватории?

Я испытываю сердечное чувство к этим двум людям и иногда думаю о них как о близких, только я очень мало все-таки о них знаю.

Но мне простительно: я иностранка.

Папаша Николая Шмита был богат и, наверное, тщеславен по-богатейски: он свою фабрику украсил верноподданнической огромной вывеской: «Поставщик Его Императорского Величества». Его величеству он поставлял резные стулья и пуфы и всякую мебельную великолепную дребедень. А сына отдал учиться



в университет. Николай Шмит, сын фабриканта и уже сам фабрикант после ранней смерти старшего Шмита, увлекся идеей сродни алхимии: превратить однолетние растения в многолетние!

Мое примечание: этот момент может служить аргументом в пользу того, что Николай Шмит не внезапно и круто изменил свою жизнь и перешел на сторону революционных рабочих. Нет, он был для революции рожден в семье того богатого поставщика.

Фантастический путь к всеобщей сытости: все однолетние травы, пшеницу, и рожь, и цветки превратить в многолетние и, раз посадив, после лишь пожинать урожаи!

И Шмит работал, вызывая одобрение московских профессоров.

Крестьяне, думал, наверное, Николай Шмит, такой молодой-молодой, перестанут унижать себя беспрерывным трудом, а раз поработав даже и в поте лица, после станут отдыхать, лечиться, возможно, от своих болезней, учиться, если захотят, станут читать.

Конечно, он был таким — мечтателем-студентом.

Из застекленной оранжереи Николай Шмит видел, как рабочие идут на фабрику, которой он должен был владеть.

Вот сюжет, достойный рассказа: как юноша с бредовыми, но благородными идеями через стекло оранжереи, сохранявшей тепло зимой, увидел жизнь.

Мебель, которую делали эти идущие мимо стекла люди, всюду окружала его с детства. Теперь, после смерти отца и вступления во владение, она начала его преследовать. Мебель на разные вкусы, кроме грубого. Мебель, предназначенная для графов и князей. Мебель, отправляемая во Францию! Изысканная.

Он выбежал из оранжереи униженный. (Я так и вижу.)

Что он мог сделать для этих людей?

Его опыты показались ему тем, что они были на самом деле: беспочвенными упражнениями, игрой. Сначала он хотел отказаться от фабрики. Но как? Продать другому фабриканту? Закрыть?

Он был молод и слишком одинок и сделался чудаком среди фабрикантов, богатым сумасшедшим, на их взгляд: он стал служить рабочим. Ввел девятичасовой рабочий день. Он думал, что неуязвим для режима: ведь он самовластный хозяин, и, если на других фабриках безнаказанно унижали, бесчестили рабочего человека, он станет возвышать его.

Николай Шмит задумал учинить локальный социализм на своей фабрике.

На фабрике открылась библиотека, где рабочие читали нелегальные издания большевиков! Отныне самые низкие лакеи хозяина, мелкие администраторы, больше всех мучившие народ, обязаны были

обращаться к рабочему на «вы». Конечно, это были неслыханные вещи. Обращение на «вы», пенсия старикам в размере зарплаты, а зарплата больше, чем прежде, амбулатория и врач, обязанный посещать рабочего на дому. Шмит воевал с целой армией подчиненных ему прислужников капитала: раньше они были необходимы, чтобы обеспечить безопасность хозяина и повиновение рабочего, а теперь стали опасны для Шмита, вышедшего из повиновения.

И другие фабриканты стали врагами Шмита.

Но Шмит, казалось, ничего этого не видел. Он вдохновенно читал рабочим лекции о социализме. Переселился в маленькую квартиру, оставив роскошный, переполненный мебелью отцов особняк. Его сестра пошла за ним. Шмит ходил как бедный студент. Я видела его фотокарточку. Обыкновенный студент.

В дни декабрьских боев пятого года на Пресне фабрику Шмита полицейские называли «чертовым гнездом». Да, там была заключена сильнейшая опасность: стенами мебельной фабрики были защищены воюющие рабочие. И враги расстреляли фабрику из пушек. От нее остались развалины. А сам Николай Шмит был арестован в последний день героической обороны Пресни на своей квартире, которую он превратил в санитарный пункт для раненых восставших. Целый год его мучили, пытали, старались унизить, сломить в Бутырской тюрьме. Но не сломили. Выпустить его не могли — ведь он был предатель своего класса. А это было не менее страшно, чем восстание рабочих. Потому что Николай Шмит в своем одиноком бунте доказывал истину о человеческом достоинстве, которого лишены угнетатели.

Поэтому его убили.

Весь капитал он передал большевикам. Николай Шмит не смог сам распорядиться капиталом, добытым его отцом, но своею жизнью он распорядился как следует.

Двадцатичетырехлетний Шмит.

...И Павел Штернберг, астроном. Если бы они были настоящими детьми своего класса, они бы презирали друг друга, потому что в старом обществе люди ищут родства в способе добывания денег, а ученый и фабрикант по-разному добывают деньги. И блестящий Штернберг ненавидел бы блестящего Шмита только за то, что Шмиту деньги достались безо всякого труда, а Штернберг пробивался наверх адским трудом.

В новом мире, которому они верно послужили бы, они были бы равными, братьями. Мне жаль, что враги революции помешали этим людям встретиться, им, так похожим друг на друга.

Павел Штернберг изучал астрономию в университете, где учился и Шмит. Штернберг был одним из одиннадцати детей у Карла Штернберга, и поэтому он сделался завсегдатаем не какого-нибудь приличного московского кафе с поэтами, а жалкой столовой для извозчиков.

Все, что он знал о жизни, заключалось в том, что он видел еженощно в трубу телескопа. Но этого было так много, что о нем заговорили с удивлением и уважением. Штернберг пробился: он получил золотую медаль за исследование какого-то красного пятна на Юпитере. Ни на одну минуту Штернберг не отвлекался от своей астрономии и шел вперед быстро. За магистерскую диссертацию он опять получил золотую медаль, и Совет русского астрономического общества присудил ему свою премию — а докторская его защита заканчивалась под громоподобные овации.

Более прочным, чем хлипкое стекло Шмитовой оранжереи, было ограждение, защищавшее Штернберга от обычной жизни! Пока Шмит склонялся над своими растениями, Штернберг устремлялся ввысь и вовсе забывал о земле... казалось бы. Он был занят науками: гравиметрией, проблемами двойных звезд, движением планетарных туманностей. Он был занят делами: вел курс небесной механики и высшей геодезии в родном университете, а курс физики — в Александровском училище. Еще он ходил читать лекции в гимназию! И на женские курсы!

При этом он не пропустил ни одной звездной ночи в течение целых трех лет — эти ночи напролет он смотрел в свой телескоп. (И мучился небось в туманные, должно быть, не спал, страдая, что звезд нет, а была ли у него семья, я и не знаю.)

Павел Штернберг делался воплощенным совершенством, а внизу, под ногами его обсерватории, шла гадкая человеческая жизнь: пьяные песни, и пьяные драки, и пьяная любовь, и пьяная смерть людей.

В любительском университетском оркестре он играл на кларнете. Кланялся, одергивая фрак...

Потом он уехал по делам за границу, а вернувшись, увидел разбитую Пресню — район рабочих баррикад. И он очнулся.

Если бы Николай Шмит и Павел Штернберг были настоящими детьми подлого класса эксплуататоров, они могли бы быть лишь врагами: один презирал другого за деньги, другой — за то, что у того их не было сроду. Но они не были настоящими детьми своего класса.

Павел Штернберг вышел из своего маленького мира под звон разбитого стекла Шмитовой оранжереи.

Один был человеком образованным энциклопедически. Другой — студент, только начал свое образование. Оба принадлежали одному и тому же обществу совестливых людей. И такого качества, как совесть, как высокое представление о чести, о человечности, было достаточно, чтобы каждый приостановил заведомый ход своей жизни и начал жизнь, вдохновленную революцией. Павел Штернберг непременно должен был стать высокопоставленным государственным чиновником в царской России. Не стал. (Он метил выше!)

Из Европы он возвратился в январе 1906 года. Пресня была в развалинах. Павел Штернберг оставил астрономию тотчас.

Но он не предал ее!

Так же как не предал своего студенческого чудаческого увлечения идеей плодородной пшеницы Шмит.

Астрономом был Джордано Бруно.

Он пошел на костер не во имя астрономии, которая всего лишь частица великого человеческого знания, но сгорел во имя самого человека. Человека он предать не мог. Он настолько был самоуверен, что воображал: от его отречения начнет повсеместно совершаться большое зло. Один отрекшийся Бруно, астроном, другой отрекшийся... Он был настолько прав, что его смерть спасла от отречения, возможно, тысячи, возможно, миллионы Бруно.

Коперник, польский астроном, почти никому не известный, жил в своей башне десятилетиями, но едва немецкие рыцари подступили к городу, он стал душой обороны. Во имя чего — астроном?

Я думаю, что Павел Штернберг считал, что во время революции нейтралитет — это подлость.

И Павел Штернберг сделал нечто по-настоящему великое.

Павел Штернберг, астроном-гравиметр, знал, как ужасны могут быть последствия малейшей неточности в подсчетах, когда дело касается небесного хода светил: там мгновения равны векам, и пустячная ошибка может отбросить ученого прочь от его открытия. И он как ученый понял, что ужасны будут последствия беспорядочной революционной стрельбы в Москве, в этом городе красивых домов и памятников. Наверное, никто тогда не подумал об этом, а Штернберг подумал.

Он после поражения первой русской революции в расчете на новую подготовил точнейшую карту: провел картографическую съемку важных стратегических пунктов города: вокзалов, казарм, телефонных станций. Пожертвовал ли он своей астрономией ради этого?

Мне вообще не нравится, когда говорят о жертвах. Революция не требовала жертвовать ради нее. Люди расцветали в революции.

И в семнадцатом он сам руководил обстрелом казарм и обстрелом Кремля, где засели враги. На орудиях не было прицельных приспособлений, офицеры унесли их, чтобы рабочие не могли точно стрелять. И Штернберг сам рассчитывал траектории полета снарядов.

Он заботился о сохранении города и его памятников, как будто имел дело с ходом небесных светил: миг равнялся в будущем веку.

Ведь так и было, правда!

Когда говорят, что при социализме люди стали жить в новом обществе, наверное, имеют в виду вот что: новое общество — это когда Штернберг и Шмит стали равны и сделались великими гражданами. Когда их стало много — масса.

Поэтому смеющиеся дети у памятника героям Пресни — это люди другого мира, это праправнуки тех.

И я смотрю на них с изумлением и надеждой.



В ДОСЬЕ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРИБУНАЛА НА XII ВСЕМИРНОМ

«МАЛЬЧИКИ» С ЗОЛОТЫХ РУДНИКОВ

Эггри КЛААСТ,
южноафриканский
журналист

Крутится старенький граммофон, звучит голос, чистый, звенящий, невыносимо печальный... Зулусская песня начинается со слова «еголи» — искаженное «гоулд» — «золото»: «Йоханнесбург, земля тягот и лишений...» Я услышал эту запавшую в память мелодию на йоханнесбургской железнодорожной станции — один из шахтеров, возвращавшихся с золотых рудников и томившихся в ожидании поезда на платформе, заводил на своем граммофоне одну и ту же пластинку.

«Мальчики» с рудников возвращаются домой. Хотя их и зовут «мальчиками», они, конечно же, мужчины, хотя и зачахшие от тяжкой работы и плохого питания. Здесь и кажущиеся подростками 18-летние юноши, и выглядящие стариками 45-летние мужчины. Это сборище людей выглядит довольно странно — пестрые брюки и рубашки, кое у кого новенькая гитара, небрежно заброшенная за натруженную мускулистую спину, ковбойские шляпы, блестящие часы и самый невероятный набор дешевых темных очков.

Станция пульсирует потоками городских и сельских жителей, перегруженными пригородными поездами, привозящими сюда африканцев из близлежащих городков, и поездами дальнего следования, переправляющими пассажиров, в том числе и шахтеров, в более отдаленные районы. Эти беспорядочно толпящиеся мужчины, которых власти предусмотрительно объединяют в поддающиеся контролю группы по двадцать-тридцать человек, возвращаются в свои «родные места» — «хоумленды» — бесплодные, перенаселенные, нищие резервации для чернокожих, созданные правителями ЮАР. Шахтеры едут домой после шести месяцев работы на золотых рудниках.

Представители власти тщательно следят за ними. Удалиться от платформы уже означало бы для «мальчиков» подвергнуться серьезной опасности. С другой стороны, африканцы, каждый день приезжающие в Йоханнесбург на работу, имеют право относительно свободно передвигаться в пределах сегрегированных районов.

Лица шахтеров мрачны, порой в них угадывается ирония, словно люди эти прекрасно понимают, какую злую шутку сыграли с ними, и в темном, молчаливом гневе они пристально всматриваются в мелькание городской жизни, кружащейся вокруг них. Храня молчание, они бесконечно прохаживаются по платформе, беспомощно пытаясь сохранить достоинство хотя бы в собственных глазах. Пластинка снова повторяет свой печальный блюз, и один из горняков вдруг демонстративно сплевывает через головы «городских черных», которые кажутся такими чертовски уверенными в себе, такими переполненными сознанием своего превосходства.

За этим злобным плевком стоит целое политическое явление. Это — выражение отвращения, неповиновения, ужаса и страданий, порожденных всей страшной общественной системой, превращающей мужчин в «боев» — «мальчиков», натравливающей «городских черных» на обитателей «хоумлендов». И тем не менее все мы, темнокожие дети этой земли — городские и не городские,— стали изгнанниками на своей родине...

Но этот гнев отчаяния может выразиться и в другой форме. Наступает момент, когда, глядя на ежедневный поток «городских черных», возвращающихся после работы в пригороды, они думают о том, как бы сбежать из резерваций —«хоумлендов». Сбежать оттуда для них — это то же, что сбежать с острова Роббен, куда был сослан на пожизненное заключение лидер Африканского национального конгресса Нельсон Мандела. Им кажет-

ся, хуже, чем в «хоумлендах», быть не может.

И каждый день отправляются в города запуганные, отчаявшиеся, часто оголодавшие люди. Тонкими струйками стекаются они туда, где не могут найти ни работы, ни жилья. Создатели системы апартеида полагали, что семьдесят процентов населения страны можно безболезненно втиснуть в резервации, расположенные на отвратительных, не пригодных для жизни землях, которые составляют всего тринадцать процентов всей территории ЮАР. Система «хоумлендов» неизбежно должна была рухнуть — и рухнула.

Жители резерваций, так стремящиеся в город, мало знают о гнусных законах обязательной «паспортизации» африканцев, об облавах, которые проводит полиция в городах. Будет лучше, если они заранее узнают о таких местах, как Алберт-стрит, 80, в Йоханнесбурге, где чернокожим жителям ЮАР выдают паспорта.

Каждый африканец старше 16 лет, побывавший на Алберт-стрит, 80, должен всегда носить при себе паспорт. А пока он получит его — натерпится страданий и унижений. Унизительна вся процедура: многократное снятие отпечатков пальцев (как минимум шесть-семь раз), рентген, медицинский осмотр. Все это, вместе взятое, ввергает чернокожих южноафриканцев в психологическое состояние изгнанности, плена, пожизненного тюремного заключения.

Уже с шести утра длинющие извивающиеся очереди выстраиваются вокруг этого мрачного здания. Возле всех ворот и дверей красуются в своем надменном великолепии черные полицейские. Многие тысячи людей — воистину невероятное зрелище! — с нетерпением ждут возможности получить паспорт, дающий им право жить, работать, жениться и быть похороненным,— без него их просто вышвырнут из города. Очереди медленно-медленно, с опаской продвигаются вперед. Стоящий в воротах полицейский — сам явно в свое время натерпевшийся по уши — может решить судьбу любого желающего получить паспорт. И кто осудит его! Ведь эта должность, может быть, единственная для него возможность «удержаться» в городе. Малейшее разногласие с полицейским может привести к тому, что стоявшему в очереди африканцу придется со всех ног удирать прочь и снова вставать в другую очередь.

Разрешение на вход в Алберт-стрит, 80, — кусочек цветной бумаги. Добыв его, «претендент» на получение паспорта бережет этот клочок пуще собственной жизни. Цветная бумажка позволяет ему проникнуть внутрь некоего подобия загона для скота, битком набитого африканцами. Войти сюда — словно попасть в тюремный двор. Тысячи перепуганных, отчаявшихся, потерявших всякую надежду людей изо всех сил стараются прорваться вперед, пытаются оттеснить друг друга, заискивая перед враждебно глядящими на них чиновниками. После кошмарной схватки они наконец попадают в нужные очереди.

Обработка людей в этом заведении происходит в соответствии со строго установленным гнусным порядком. Человек приближается к столам, отгороженным один от другого, за которыми находятся черные и белые клерки. Некоторые из белых демонстративно выставляют напоказ револьвер на поясе. Интимные подробности жизни каждого африканца старательно заносят в специальные анкеты, потом эти данные вводятся в компьютер. Иногда бедняге приходится ждать еще два мучительных дня, а потом снова проходить через бессмысленные допросы, когда из Претории из центральных компьютеров придет ответ.

По сравнению с адом, который творится снаружи, внутри здание выглядит чистым и строго деловым. Белые и черные чиновники за стойками выкрикивают фамилии, и не приведи господь какому-то несчастному прослушать свою фамилию, не откликнуться сразу — тогда все пропало! Одним росчерком пера черному предоставляется право остаться в Йоханнесбурге или Кейптауне или подписывается приговор послать его в «хоумленд», а то и еще хуже — в тюрьму. Атмосфера неизбежно насыщена гневом и страхом.

Но вот наконец-то человек держит в дрожащей руке драгоценный паспорт и верит, что все его страдания и мучения остались позади. Он полагает, что теперь может свободно ходить по улицам, получить работу и спокойно предъявить свои документы первому же полицейскому, который остановит его. А потом вдруг его выбрасывают из этого состояния эйфории в следующую очередь для получения печати о постоянном местожительстве, разрешения на работу или еще чего-то и, наконец, драгоценного штампа, свидетельствующего, что он прошел медосмотр и может быть допущен в белую часть ЮАР для поиска работы. Эта процедура является, пожалуй, началом окончательного, доведенного до предела унижения.

Такого рода унижения редко где-либо описываются. Возможно, о них никогда не слышали ни большинство белых южноафриканцев, ни чернокожие дети этой земли, так страстно желающие покинуть свои «хоумленды» ради жалкой городской толпы. Это ежедневное оскорбление, наносимое множеству мужчин и женщин, не имеет ничего общего с хваленым демократическим принципом: «Один человек — один голос». Такие процедуры — великое благо для правительства ЮАР. Потому что мужчины, лишенные таким образом чувства собственного достоинства, навсегда превращаются в «боев»—«мальчиков»...

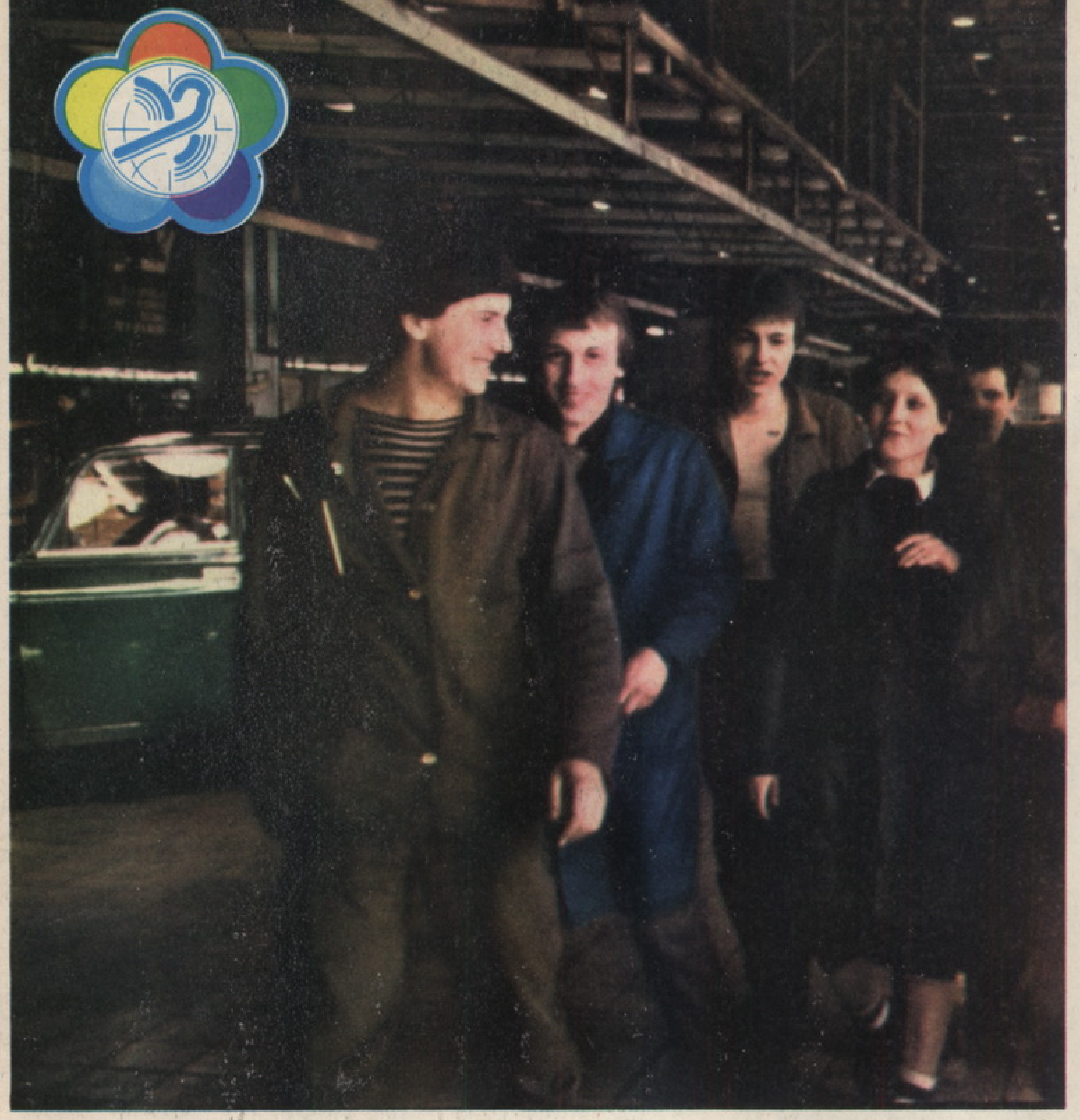
И вся эта грандиозная, хорошо согласованная программа действий направлена на то, чтобы загнать 22 миллиона человек в рабскую ссылку — физически и психологически.

Почему каждый раз, увидев полицейского, я чувствую и веду себя как преступник! Система апартеида приводит к психическому параличу. Ужасная правда состоит в том, что, в сущности, нет никакой объективной необходимости в законах о «паспортном регулировании», нет нужды в том, чтобы каждого черного мужчину или женщину в любом месте и в любое время то и дело останавливал полицейский и требовал паспорт под угрозой тюремного заключения. Нет необходимости в «хоумлендах». Нет нужды в том, чтобы повседневно оскорблять африканцев. Все это нужно лишь для того, чтобы увековечить белое господство в стране.

Москва — гигантский рабочий город. Это чувствуешь сразу, как только приезжаешь сюда. По утрам к проходным заводов идет поток: мощная река рабочих людей вливается в цеха и мастерские. Можно пройти в этом потоке до проходной, ощутить настроение и дух: идут спокойно, быстро, но без спешки, перебрасываются словами приветствий, шутят. В их лицах и походках есть увесистая уверенность, надежное, крепкое чувство свободы, которое может быть только у людей, спокойных за завтрашний день. И они идут к своим станкам, в свои цеха — на свой завод.

Футуристы в начале века говорили о новой красоте — о красоте современного производства. Они видели красоту в прямых углах конструкций, в сложном переплетении линий на чертежах, в размахе цехов и в движении гигантских шатунов паровозов. Это была красота станка и машины, красота, пахнущая маслом и соляркой. Этот новый индустриальный мир не имел ничего общего с идиллией восходов и закатов, с грустной лирикой ландышей. Тут ревели гудки, летели звездообразные искры, взрывался бензин в поршнях и ползли черные вагонетки, по краешек наполненные жидкой огненной массой чугуна. В сплошной беспокойный звук сливались шипение кислорода, вой скоростных токарных станков, скрежет сопротивляющегося железа: новая музыка цивилизации, услышанная Хиндемитом и Шёнбергом. В «танцах машин» Форегтера люди имитировали движения маятников, поршней и колес. Волшебный ямб и певучий хорей, разбитые молотками Маяковского и Хлебникова, превращались в «лесенки», в короткий дерг строк, сходный с дергом шатуна. Это была новая красота, красота созидания, красота индустрии, побеждающей мир, и героем тут был пролетарий.

Когда я говорю, что Москва — гигантский рабочий город, я имею в виду не только огромные, как павильоны вокзалов, цеха заводов имени Орджоникидзе у Ленинского проспекта или АЗЛК в Текстильщиках, но и рабочее прошлое города. Это как бы разошедшиеся во времени корни, питающие настоящее:



В МОСКВЕ ХОЗЯИН — ТРУД

Жузе СЕРРА,
студент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

недаром на многих заводах и фабриках Москвы есть маленькие, общественные музеи, где рабочие собирают предметы индустриального обихода далеких лет, фотографии своих цехов полувековой давности, воспоминания старых рабочих о первых субботниках и о дивизиях народного ополчения в 1941-м. Рабочая Москва — город с историей. В железнодорожном депо Москва-Сортировочная каждый расскажет о дне 12 апреля 1919 года так, как будто он был вчера. И вот мне рассказывает об этом Игорь Жуков, слесарь (ростом метр девяносто), работающий в этом депо. «Тогда на субботник вышли пятнадцать человек. 6 апреля на собрании партийной ячейки предложил провести субботник Иван Бураков. Тоже слесарем был, кстати. 12 апреля остались после рабочего дня и продолжали ремонт локомотивов. За ночь три паровоза отремонтировали. Паровозы были нужны, чтобы эшелоны с войсками перебрасывать на юг, оттуда шел Деникин».

Один из паровозов, отремонтированных в ту апрельскую ночь, сейчас стоит в депо. Черный, с круглыми мощными колесами и красными шатунами, с застекленной кабиной и трубой на носу, он служил еще долго и в Отечественную войну таскал вагоны с оборудованием и продукцией по железным дорогам страны. Машинисты-профессионалы, умевшие брать подъемы со скоростью пятьдесят километров в час, а на малых уклонах гонявшие и на все сто километров, профессионалы своего дела, чувствовавшие работу котла и турбодинамо как работу собственного сердца,— все ушли на фронт, и в этой кабине, у рычагов, стояли женщины. За смену приходилось им тонны две угля перекидать лопатой в топку. И равно удивительны стойкость этих женщин и стойкость паровоза, служившего людям почти пятьдесят лет, так же как умение московских слесарей из бригады Буракова, что так здорово отремонтировали за ночь паровоз, что он пережил две войны и перевез тысячи тонн грузов... И паровоз стоит сейчас в депо как памятник машинистам-асам, ушедшим на фронт и не вернувшимся, как памятник женщинам, заменившим мужчин на тяжелой работе, как памятник слесарям и рабочим депо разных лет и поколений — памятник Труду.

Игорь Жуков живет на окраине Москвы в доме-новостройке. До депо ездить ему час десять. Мог бы найти работу поближе, слесари везде нужны, но не хочет. Почему? Особенно долго он на эту тему распространяться не будет: «Понравилось мне здесь». А что понравилось? «Работа хорошая. Локомотивы чинить — это не краны водопроводные все-таки...» Он как бы уже по телосложению, по стати своей создан для того, чтобы на равных общаться с мощными механизмами и станками. Хотя, конечно, рядом с локомотивом и его метр девяносто — пустяк. Локомотив стоит в цехе-ангаре, а вокруг него люди ходят, люди лезут по лесенке, люди облепили его, как муравьи. В неподвижном, холодном электровозе есть какая-то скорбь, как в больном и грустном слоне. И они хотят помочь ему. Так это представляется на посторонний взгляд неспециалиста. А для Игоря Жукова это обычный день и обычный труд без всякой лирики. «На техосмотр дается шесть часов, на малый ремонт восемь. Время тянуть некогда, надо быстро работать. Но если недоделать, недосмотреть, то локомотив скоро опять на ремонт вернется. Двойной расход. А с хорошим ремон-

том пробегает вдвое, втрое больше...»

Для него локомотив не бездушная многотонная масса металла. Для него в локомотиве, кроме всех масленок, поршней, проводов и маховиков, есть что-то неуловимо живое, какая-то душа: ведь недаром одинаковые, серийные механизмы ведут себя часто по-разному, обладают разной выносливостью, прочностью или скоростью. «У каждой вещи характер есть. Можно научиться в железках хорошо разбираться, но хорошим слесарем еще не будешь. Очень любить свою профессию надо. Надо механизм чувствовать. А это возможно, если с душой к работе подходишь. Надо хотеть помочь локомотиву, что ли. Как если бы он был живой. Но этого только никто вслух не скажет, не надо говорить, неудобно. Работа — работа и есть. Надо ее делать, и все. Ну, еще учить, когда парень какой на практику приходит. Я сам когда-то так пришел. Дают тебе парня, и ты с ним работаешь. Называется это шефство. Важно его научить в технике понимать, это само собой. Но отношение передать — это тоже важно...»

У паровоза, реально говоря, действительно нет души. Действительно, токарный станок или шатун не более чем масса металла, которой придана некая форма. Они не живые — их двигает энергия взрыва и энергия электронов, бегущих по проводам. Но человек словно вкладывает свою душу в металл, одушевляет станок и локомотив своим отношением. И тогда вся грохочущая, роняющая искры электросварки, поющая воем сверла, входящего в сталь, красота становится одушевленной, живой красотой человека, погруженного в труд, создающего своим трудом что-то новое и важное. И в таком отношении к труду тоже есть история и традиция, потому что Москва — издавна город мастеровых, город виртуозов, создававших чудеса своими золотыми руками. У ружейного мастера в «Левше» Лескова была фамилия Москвин — он из Москвы, значит, попал в Тулу, где и творил чудо-пистолеты, которыми англичане перед русским царем хвастались как своими. И в кроватной мастерской под руководством молоденького инженера Яковлева московские слесари собирали первые самолеты в середине двадцатых. И надо было очень любить свое дело и свою, в общем, несложную машину для резки стекла, чтобы усовершенствовать ее так, что производительность ее выросла сразу на двести процентов,— так было в 1925 году на московском заводе «Электролампа» у слесаря Шаманина. Огромное, грохочущее современное производство не убивает душу человека — наоборот, человек входит в цех, в мир махин и тонн, уверенный и свободный, потому что знает, что от него тут зависит все. Это ощущаешь в московском рабочем, где бы ты его ни увидел: по дороге на завод, в цеху, на улице, в очереди за газетой, подходящим в своей синей спецовке к станку или отходящим от него, вытирая ветошью руки, когда работа сделана,— неторопливый, несуетливый, крепкий, независимого нрава московский рабочий, знающий себе цену.

Они сильны этим чувством, закрепленным в поколениях, и традицией, которая передается от отца к сыну, от мастера к ученику. И вот тот, кто вне слов и без слов воспринимает эту рабочую традицию,— зовут его Саша Козлов, ему семнадцать, и он на последнем курсе СГПТУ номер сорок, что на Петровско-Разумовском проезде. Отношение к труду он почувствовал, ощутил, воспринял от отца, слесаря шестого разряда, от молодого парня Володи Бычкова, который на заводе шефствует над ним. «Он после армии пришел и на завод. Четвертого разряда слесарь. Мы вместе работаем. Он мне скажет: «Давай делай это!» Больше ничего особенного не говорит. И сам работает рядом со мной. Я ему помогаю. Если я плохо сделаю — ему переделывать. Так вдвоем, вместе, одну работу делаем». «Это сразу видно, хороший ты слесарь или нет. Я возьму деталь и сразу скажу, хороший слесарь или плохой тут работал. Потому что, как только деталь к тебе поступает, ты сразу снимаешь фаски. Углы закругляешь напильником. Не придумали еще приспособления, чтобы это автомат делал. Каждый слесарь делает это вручную, сам. Если углы не закруглить, то потом кто-то понесет детали и все руки себе обдерет. Возьмешь деталь, пальцем проведешь и чувствуешь: тут гладко, а тут режет, шероховато. Кто-то не постарался. А хороший слесарь, он... (парень ищет слова)... всегда так сделает, чтобы другим было лучше».

Отец его, Василий Васильевич Козлов, работает слесарем в одном из московских КБ. Черноволосый, подтянутый, он несет в себе какое-то обаяние ловкости и лихости. В молодости он служил во флоте, на адмиральском катере,— так и видишь его лет двадцать назад, морячка в клешах и бескозырке, любящего рассказывать о своих приключениях и походах. Его высший шестой разряд означает, что он современный московский Левша, чудо-слесарь (у Игоря Жукова, который тоже не новичок, четвертый разряд). И Козлов знает о себе, что он — талант, и оттого в разговоре его иногда проскальзывает этакая веселая снисходительность: «Ничего, мол, и вы тоже на что-то годитесь со своей журналистикой...» Работа его — «доводить до ума» новые станки, созданные в КБ, живую жизнь вдувать в инженерные схемы. И к инженерам он относится тоже несколько снисходительно: «Ну, что там нам инженеры пишут?» И это не хвастовство — у него есть несколько патентов, чертежи он читает так, как взрослый человек букварь, и к станку, который не хочет работать хорошо и правильно (причина же никому не ясна), подходит с улыбкой, с предвкушением, и есть тогда в нем шик дуэлянта, привыкшего к победам: «Что тут случилось, а?» И через минуту он уже забыл про свою браваду, в которой и кокетство есть, и молодое пижонство,— и с красивой сосредоточенностью ушел в работу. Не выходит — это только поднимает в нем внутренний жар, усиливает азарт: «Так, тогда вот что сделаем сейчас...» Довести механизм до того, чтоб он работал безукоризненно,— это у Козлова внутренняя потребность, некий уголек в душе, который будет жечь, пока он не добьется своего. «Да ладно, хватит! — скажет кто-то.— Работает ведь!» Но у Козлова охотничий блеск в глазах, красивое его лицо изнутри светится одушевлением, движения быстры и четки: «Нет, подожди...» Он должен до последней мелочи все доделать, до абсолютной работоспособности довести механизм, чтобы потом довольным и опять чуть снисходительным отойти: «Вот теперь все. На сто лет!»

И когда я его сына, Сашу, спросил, чувствует ли он в профессиональном смысле разницу между собой и отцом, тот даже немного растерялся от этого вопроса, заулыбался: «Класс у него выше и чувствуется во всем. Я из училища, например, приду, над чертежом сижу, думаю, могу целый вечер продумать. Он придет с работы, глянет — все сразу объяснит...»

Саша Козлов, сегодня ученик, завтра рабочий, говорит о своей профессии в ряду других профессий и о ее месте на заводе и — шире — в мире: «Слесарь (говорит он) незаменимая специальность. Он может на производстве и токаря, и фрезеровщика заменить, а они его нет. Он универсальный работник. Без слесарей заводов не бывает. Между идеей и готовым механизмом стоит слесарь. Инженер иногда не представляет себе в натуре, как сделать то, что он придумал. А слесарь взглянул на чертеж и все сделал. Чтобы быть хорошим слесарем, надо знать спецтехнологию. Это предмет, где изучается, как что делается. От молотка до машины. Все, что касается машиностроения, он должен знать. Черчение. Геометрию. Допуски. Экономику производства. Он должен быть терпелив, потому что часто это довольно-таки тонкая работа. Должен хорошо считать. А вот большая физическая сила сейчас, в общем, необязательна.

Если все это изучить и научиться делать, то тогда можно сказать, что ты, слесарь, можешь все. Да, просто все можешь сделать сам от начала до конца...»

— Как все? — спрашиваю я скорее в шутку, чем всерьез.— А паровоз, например, ты бы мог сделать?

Высокий, коротко постриженный кареглазый мальчишка думает. Для него это практическая задача. И хвастать он не хочет, и ронять себя оснований нет.

— По чертежам или без чертежей строить?

— По чертежам...

— Тогда мог бы, наверное...— отвечает он ломким юношеским басом.



ТРИ ДНЯ В ЧУЖОЙ ШКУРЕ

(Путешествие в бедность)

Доминик ОДИБЕР,
французский журналист

И зачем только я ввязался в это дело! На рассвете сине-зеленого ноябрьского дня стою истуканом на тротуаре возле собственного дома на улице Севр и не знаю, куда идти. И это несмотря на то, что еще три недели назад я знал, что этот момент наступит, три недели я готовился к репортажу о бедноте Парижа.

Принцип, которым я руководствовался, прост: чтобы говорить о бедности, надо попробовать пожить на улице, не имея ни жилья, ни денег, ни работы, ни знакомых. Как живут каждый день сотни людей, потерявших работу, исчерпавших все свои сбережения, которым не платят больше пособия, которых выгнали из квартиры и которые оказались на улице без единого су в кармане. Изо дня в день наталкиваются они на непробиваемую стену, отделяющую нормальную жизнь от их существования. И все же я не смогу до конца проникнуться их отчаянием: для них это бедствие длится многие месяцы, и крушение часто оказывается окончательным. Для меня же это не более чем путешествие с оплаченным обратным билетом. Разница немаловажная...

На улице меня сразу же охватила легкая паника, ускользающие взгляды прохожих, от которых вдруг начинаешь чувствовать себя так, будто ты прозрачен для толпы окружающих тебя людей. Я замечаю, как с легким подозрением профессионально-оценивающе смотрит на меня полицейский, и осознаю, что уже не принадлежу к миру «нормальных» людей.

Сижу на скамье в Люксембургском саду и думаю, где найти пристанище на ночь, где поесть, денег у меня нет. На теннисных кортах за скамейкой молодые люди, полные сил и здоровья, перебрасываются мячами. Вдоль ограды сада усердные любители оздоровительного бега добросовестно сжигают лишние калории. Никогда раньше эти люди не казались мне столь ничтожными. Ведь еще вчера, воскресным утром, я проделывал то же самое...

«Суп!» — раздатчица бесплатного супа для бедняков наливает в железную миску половник жидкости: теплый бульон с размоченным хлебом, на поверхности которого плавают несколько лапшинок и листиков капусты. Я пришел сюда, как и все, в полдень, к открытию пункта по раздаче еды. Расписание его работы висит на дверях, он работает только полчаса: пока не опустеет бак с супом. Тут довольно чисто, и принимают радушно.

Клиентура самая разная: бродяги «со стажем», двое мужчин средних лет, одетых вполне прилично, юнец в розовом галстуке. Напротив меня какой-то бродяга выпивает бульон и достает гущу руками. Я понимаю, что ложек тут нет — это, несомненно, слишком большая роскошь для бедняков,— и следую его примеру. Противно, но с трудом пересиливаю себя.

Выхожу на улицу. Холодно. Я, всегда обходивший вентиляционные решетки метро, откуда выходят зловонные испарения, впервые задерживаюсь возле них и нахожу их тепло восхитительным.

Открываю, что я страшно наивен. Придя в два часа дня к приюту на улице Лявиет, я уверен, что смогу заранее получить здесь место на ночь. «Запись с семи тридцати утра»,— гласит объявление, и, конечно же, свободных мест уже нет. «Чтобы иметь шанс попасть сюда, надо приходить к шести утра. А иначе и надеяться нечего»,— сообщает мне изможденный человек лет тридцати. Он советует попытать счастья в приюте «Кордельер», где сам провел прошлую ночь. Там, как и на улице Шевалье, я услышал ответ «мест нет».

Во Франции теоретически существует примерно шесть тысяч мест в приютах для бездомных, около тысячи из них обеспечивают пристанище на ночь парижанам, не имеющим крыши над головой. Этого ужасающе мало, ибо каждый день сотни безработных остаются без средств к существованию и какой-либо поддержки. По последним данным, около миллиона из них не получают никакого пособия или помощи.

Семь часов вечера, пронизывающий холод, начинается дождь. За неимением лучшего я устраиваюсь на скамье на станции метро «Варенн» — «культурной» станции, где прямо передо мной копия статуи роденовского «Мыслителя», напряженно думающего, подперев рукой подбородок. А что делать мне!! Мне ведь предстоит шесть часов ждать, пока закроют станцию, чтобы потом попытаться уснуть здесь. На соседней скамье, прижав к се-

бе пластиковую сумку, дремлет старик. Рядом со мной какой-то иммигрант провожает взглядом проносящиеся мимо поезда, и в глазах его — пустота.

Таких людей — разного возраста, на разных стадиях падения — я видел повсюду. Стесняющиеся чужих взглядов или привычно безразличные к ним, пытающиеся выглядеть пристойно в потрепанной одежде или откровенно оборванные, отупевшие от голода и холода, больше уже ни от кого ничего не ждущие.

Поезда идут все реже. Я жду, когда пройдет последний, спрятавшись за статуей от телекамер наблюдения. Слышу, как служащий закрывает наверху входные решетки, и засыпаю сном младенца. Ненадолго. В два часа ночи, неизвестно почему, на станции включается сирена. Она воет беспрерывно до утра. Заткнув уши, я провожу ночь в адских муках.

В шесть утра с пустым желудком я прихожу ко входу в приют на улице Лявиет. Через полчаса уже больше двадцати человек ждут его открытия. Несколько бродяг, иммигранты, юнцы, пожилые люди лет пятидесяти и старше. Лица, на которых печать ночей, проведенных на улице, надрывный кашель, черные круги под глазами. Когда появляется служащий, чтобы собрать карточки с нашими именами, к нему тянется лес рук. Чудом мне удается сунуть ему свою. Через несколько минут он снова выходит и выкликает шесть или семь фамилий. «Одибер! К шести часам вечера сюда». День начался хорошо: я по крайней мере знаю, где буду спать следующую ночь. И поскольку настроение у меня хорошее, решаю пойти попрошайничать на рынок.

На рынке сижу на куске картона, другой держу на коленях: «Я голоден. Пожалуйста!» Никогда бы не подумал, что способен на такое. В сущности, тяжело лишь первые тридцать секунд, необходимых, чтобы сделать три шага к выбранному месту, сесть на землю под взглядами прохожих, ощутить себя внизу, на уровне земли, тогда как остальные, стоящие на ногах, наверху. Это шикарный рынок седьмого округа Парижа, глаза натыкаются на вереницу подъезжающих один за другим «кадиллаков».

Вдруг происходит мучительная сцена. Какой-то старик выходит из ворот, возле которых я примостился, и бросает мне: «Ну уж нет, убирайтесь отсюда, здесь частная собственность!» Я остаюсь недвижим, словно изваян из мрамора. Тогда он оборачивается к спутнице, она ведет на поводке отвратительного пса: «Симона, не оросить ли его душем!» Она, поджав губы, цедит: «Разве вы не видите, что это место для выгула собак!» Произнося это, она призывает в свидетели проходящую мимо даму. Я жду худшего, но та вдруг демонстративно достает из кошелька пять франков и, подавая их мне, заставляет мегеру замолчать. Ах эта женщина, я восхищен ею! И если, по случайности, она прочтет мой репортаж, я шлю ей воздушный поцелуй.

Поразительно, как быстро перестаешь беспокоиться о мнении окружающих. Попадаешь совершенно в другую среду и оказываешься поглощен совсем иными заботами: где поесть в следующий раз, как бы поспать и отогреться. Твои внешность и мышление уже отмечены печатью изгнанников общества, лишенных глупых знаков социального отличия — адреса, профессии, приличной одежды, которые в то же время являются пропуском для возвращения в нормальную жизнь.

Вечером в приюте прохожу через обязательную здесь процедуру оформления жильцов. Стоя в очереди, я болтаю со своим соседом. У него осунувшееся лицо, щеки заросли щетиной. Уже целую неделю он спит в подъезде дома на площади Италии. Днем за гроши работает грузчиком: «Тяжелая работенка, особенно когда есть почти нечего. По правде сказать, я уже «дошел до ручки». Он говорит, что его гложет тоска.

Выкликают мое имя, и я захожу в приемную. Мне вручают регистрационную карточку, выдают простыни, полотенце и мыло. Я получаю право на пребывание здесь в течение пятнадцати дней — с ужином и завтраком. Приют размещается в бывшем здании школы: в комнатах по пятнадцать кроватей. После ночи, проведенной на станции метро, все это кажется немыслимой роскошью. Отправляюсь в душ и долго тру себя под горячей водой. «Черт побери, до чего здорово!» — это наслаждается мытьем мой сосед. Я вполне согласен с ним. Ужин в столовой с шести до восьми вечера: суп, тарелка белой фасоли.

Позже, в комнатах, обитатели приюта делятся друг с другом сведениями, добытыми за день,— адресами центров для бездомных, где есть свободные места, пунктов, где бесплатно выдают одежду, где можно даром позавтракать. Обмениваются газетами и книгами, кто-то одалживает свой ремень парню, которому явно широки брюки и который должен завтра идти наниматься на работу. Между ними чувствуется солидарность людей, оказавшихся вместе на одной галере. Они мало говорят о себе. Но по нескольким оброненным фразам понимаешь, что и у них тоже была своя жизнь, свое прошлое, семья, прежде чем они очутились здесь. Чтобы выглядеть поприличнее, они накладывают на дыры заплатки, перешивают пуговицы, кладут на ночь брюки под матрац, пытаясь добиться хотя бы видимости отутюженной складки на них. Все их имущество умещается в чемодане или сумке. Но никто не жалуется на судьбу. Слишком хорошо они знают, что здесь все испытывают одинаковые невзгоды.

И все же можно легко заметить, что эти люди делятся на две категории. Завсегдатаи, которые кочуют из одного приюта в другой, знают все закоулки, все места, где можно бесплатно поесть или получить одежду. Вид у них почти приличный, но они уже оставили всякую надежду найти работу. Они существуют на подаяния, на мелкие случайные заработки.

Все остальные — начинающие бездомные, те, кто погрузился в бедность сравнительно недавно: увольнение, безработица, выселение из квартиры — и человек оказывается на улице. Они берутся за все, согласны на любую работу за самую низкую плату, встают ради этого в пять утра. Они считают дни, оставшиеся до того, как их снова выкинут на улицу,— эти четырнадцать дней, предоставленные им для того, чтобы они вновь всплыли на поверхность жизни, четырнадцать дней, которые один за другим отмечаются на их розовых карточках, когда они возвращаются вечером в приют.

В девять часов, несмотря на свет голых лампочек под потолком, все спят. Когда утром я просыпаюсь в половине седьмого, уже все ушли. Кроме моего соседа по койке. Он с удрученным видом сидит одетый на своей кровати, потом начинает говорить. Ему сорок лет, безработный рабочий. Подрабатывает в ресторане, но он нужен там лишь два дня в неделю. «Я никогда не работал за такую низкую плату, никак не могу выкарабкаться. Ищу настоящую работу, но ее нет». Прежде чем очутиться здесь, он жил в захудалых гостиницах, платя по шестьдесят франков за ночь. В прошлом месяце все его сбережения кончились. «Это не жизнь, это не жизнь»,— повторяет он. Потом тяжелой походкой уходит прочь.

На оборотной стороне карточки, которую мне выдали вчера при входе в приют, написано: «Вам предоставляется право прожить здесь 15 дней бесплатно. Но эти дни должны дать вам возможность найти работу, найти решение ваших проблем». Я не могу удержаться от мысли: легко сказать!

Бюро социальной помощи города Парижа тем, кто не имеет постоянного местожительства, расположено как раз напротив городского морга. Сюда приходят, чтобы получить талоны на горячий обед, билетики в метро, немного денег. Вокруг меня большая толпа. Люди нервничают: двери бюро откроются в половине второго, впустят только тридцать человек; нас же собралось больше ста, и каждый старается пролезть поближе к дверям.

Когда двери наконец открываются, начинается всеобщая потасовка, люди толкаются локтями и коленями, ругаются, пытаясь во что бы то ни стало протиснуться в числе первых. Придавленный к железной двери, как муха, прилипшая к стене, я отчаянно стараюсь проскользнуть внутрь. Мне удается схватить за воротник молодого иммигранта, который хочет опередить меня в очереди перед окошком, где выдают регистрационные карточки. «Прием окончен,— объявляет служащий.— Мы впустили со-

рок человек, больше ничего нет».

Многие начинают упрашивать, умоляют не отказывать в помощи, повторяя, что они уже не раз уходили ни с чем. Один проситель предельно раздражен, он пытается взломать дверь бюро — и получает в лицо струю слезоточивого газа: служащий защищается как может. Потом двери открывают, чтобы проветрить помещение, толпа не расходится, начинается бесконечное ожидание. Когда человек беден, он должен быть терпелив.

На следующий день мне удается пробиться к окошку. Я рассказываю сотруднице бюро историю, которую повторял про себя целых два часа. Она принимает меня любезно, дает адреса, по которым можно принять душ, бесплатно постричься. Я получаю даже право на небольшую сумму денег, билеты в метро и талоны на еду на неделю. «Это немного, я знаю, но приходится довольствоваться тем, что есть»,— извиняющимся тоном говорит она. Еще с час я стою в другой очереди, чтобы получить все, что мне выделили, в другом окошке. На все это в целом уходит пять часов. Мне хочется вдохнуть свежего воздуха и побыть в одиночестве. Возвращаясь по набережной к метро, чтобы вернуться в приют на улице Лявиет, я с трудом передвигаю ноги, словно налитые свинцом. Желудок мой пуст, но я даже не хочу есть. Я чувствую только усталость и тоску. Я отправился «в путешествие» на неделю. И «сломался» уже на третий день.

Когда я вернулся в редакцию, мой коллега, который не видел меня три дня, в замешательстве глянул на меня — что же такое могло случиться со мной, почему у меня такая походка и такое отчаяние в глазах.

И все же я вернулся в бюро, отдал свои талоны на обед, билеты в метро и деньги какому-то молодому человеку, который, конечно, ничего не понял. Еще один странный день я провел с легкой путаницей в голове, уже вернувшись в свое привычное окружение, но еще оставаясь наполовину в шкуре бездомного. Я покинул ее без сожаления, но с чувством смутной тревоги оттого, что мое путешествие в бедность так и осталось незавершенным.



ОНИ СВОЕ ВОЗЬМУТ!

Мигель Анхель РЕНДОН,
студент философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Меня зовут Мигель, я первокурсник. Я сижу на лекции, и, конечно, аудитория залита утренним солнцем. Для лучших воспоминаний мы ведь выбираем солнечные дни. А я хочу университет запомнить. Кто скажет, кем мы станем: я, и Женя Носаров, человек с феноменальной памятью, и Иман, и Марина? Я сижу в утренней аудитории, и, даже если Ленинские горы зальет тропический ливень,— а такие ливни, говорят, случаются на Ленинских горах,— я все равно с улыбкою буду оглядывать аудиторию и твердить о солнце, заливающем ее. И Марина оглянется удивленно, поскольку она чувствует на расстоянии мой рассеянный взгляд.

Я ловлю на себе еще взгляды: Платона, изображенного таким печальным, и Аристотеля, и Эпикура на портретах, написанных специально для нашей аудитории, вот почему философы как бы смотрят на каждого из нас испытующе, а были ли они так строги к своим ученикам, как изобразил художник, и могли ли позволить себе оттенок недоумения во взгляде на молодежь, какой я уловил на портретах? И взгляд Марины с укоризной: Марина считает, что она несет ответственность за меня — и только потому, что сама первая подошла ко мне с предложением помощи! «Мигель,— сказала она, такая красивая, что могла себе позволить самый дружеский тон,— давай я тебе помогать буду. Ведь тебе так трудно». А я сказал: «Не надо, я сам». И тогда она рассмеялась смущенно, а я понял, какую глупость совершил.

Конечно, помоги! Мне очень-очень трудно. И будет трудно всегда, покуда тебе хватит терпения. Мне даже кажется, что я ничего не понимаю (чему там усмехается Платон?).

Но Марина потащила меня в библиотеку.

Странная девушка с философского факультета МГУ. Когда в Москве начнутся ливни, когда станет так пасмурно, что в аудиториях будут по утрам включать свет, в нашей будет светло и так.

Я, Мигель Анхель Рендон, ученик-философ, разделяю человечество на имеющих представления и разрушающих представления. Конечно, я имею в виду лишь прогрес-

сивное человечество — человечество, стремящееся к знанию. Итак, одни стремятся получить полное представление о предмете, которому посвящают себя,— и этого стремления порой достаточно, чтобы заполнить всю жизнь. Другие — деятели высшего класса! — разрушают все старые представления о предмете и о проблеме, с тем чтобы в области знаний, которую они изучают, освободились горизонты. Конечно, необязательно отвергать старое, но обязательно создавать новое!

Я и думаю: кто — мы?

Нет, те, чьей жизни хватает лишь на то, чтобы досконально изучить предшественников, они не неудачники. Просто у них несколько иная специализация. Но и те и другие — знатоки и гении — начинали с первого листка лекционного конспекта, с первой лекции. С того, что их кто-то, как нас и меня, принимал в свои ученики. С того, что они замахивались на большее — на все! (Потом оказывалось: все — это слишком много.)

Когда-нибудь я вспомню первый день — я, загадавший про себя: сбыться бы. И если у меня когда-нибудь будут ученики, я им не про себя буду толковать — не про Мигеля из Мехико, сына рабочего,— мой путь в науку был прост, так скажут в лучшем случае. Прост и удачен: учился в лучшем университете и имел лучших друзей, для любви к мудрости этого достаточно, так начинали многие мудрецы... Нет, я буду с восторгом рассказывать о тех, кто сейчас сидит со мной на лекции. Их будущее я вижу даже яснее, чем свое: они свое возьмут, и подлежащие разрушению представления опрокинут — они. Вместе со мной. Я надеюсь: вместе.

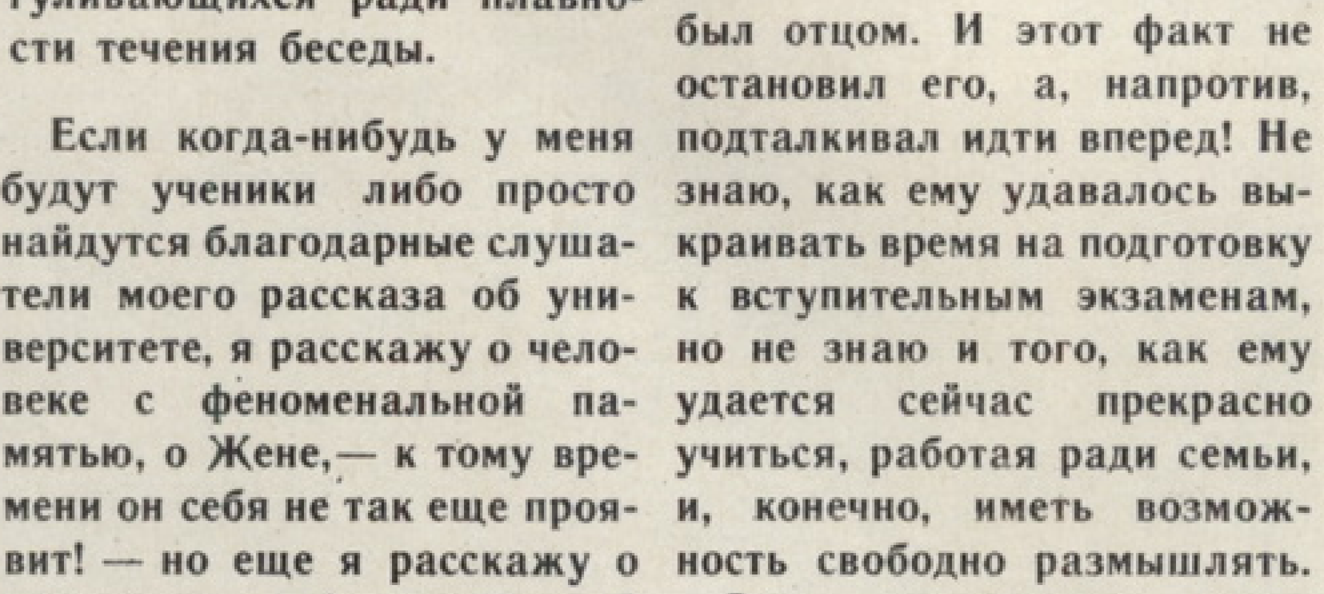
Женя Носаров, скажу я, улыбаясь нашей юности, в раннем детстве вообразил, что можно выучить все тридцать томов энциклопедии. Я думаю, что даже школьные учителя отговаривали его от этого безрассудного шага. Выучить тридцать толстых книжек! В детстве он открыл первую и ужаснулся — тонкая рисовая бумага, мелкий шрифт — петит, должно быть.

Женя выучил эти тридцать томов.

Когда мы станем пятикурсниками, эта история уже приобретет привычный вкус студенческой легенды. Невозможно выучить тридцать томов — изложение знаний, оторванных от своих корней, системы, этот перечень победных финалов без тех мельчайших подробностей познания, которые единственно ведут к истинному образованию. Не нужно учить тридцать томов! Это, конечно, шутка, какая-нибудь тонкость в русском обороте речи. Но к Жене, знаю, отправлялись целые делегации желающих проверить Женю, уверенных, что сейчас осмеют его, притязающего зваться энциклопедистом. И были посрамлены, говорят. Я сам-то Женю не проверял. Все это детство. Женя меня купил с потрохами своим интересом к стране, которая называется Мексика. Женя сказал мне: я так мало знаю о Мексике. Я согласился: никто не может знать о Мексике много. Тем более знать все. «Я помогу тебе»,— сказал я. И мы неторопливо стали беседовать по-испански.

...Как два философа, прогуливающихся ради плавности течения беседы.





Если когда-нибудь у меня будут ученики либо просто найдутся благодарные слушатели моего рассказа об университете, я расскажу о человеке с феноменальной памятью, о Жене,— к тому времени он себя не так еще проявит! — но еще я расскажу о человеке с феноменальной целеустремленностью.

Вот какие люди учились со мной, воскликну я, и расскажу о Бабамураде Тахтаеве, плотнике.

Бабамурад был простым плотником, но жажда знать все о деле, которым занят, принуждала его учиться. Отличный плотник, он стал отличным электриком, а потом, естественно, первым электриком в своем городе в Туркмении, стране, где он жил отроду. Из первого электрика он сделался главным и дальше так бы рос и рос, но жажда настоящего познания охватила его, и он захотел узнать самое главное о жизни, захотел освоить самое сложное знание — философию. К тому времени он был уже женат и был отцом. И этот факт не остановил его, а, напротив, подталкивал идти вперед! Не знаю, как ему удавалось выкраивать время на подготовку к вступительным экзаменам, но не знаю и того, как ему удается сейчас прекрасно учиться, работая ради семьи, и, конечно, иметь возможность свободно размышлять.

Ведь студенчество такое время — свободного размышления.

Все студенты поэтому немного философы.

Я хотел бы, как Мурад, так рваться вперед, так хмуриться от напряжения, слушая лектора, так никого не видеть и не слышать посторонних звуков (звук солнечных потоков, заливающих аудиторию, гремящий и оглушительный, как водопад, и золотой, как кремлевские купола,— так сочиняю я), но мне же никогда не удается быть от природы таким веселым, как Мурад! В самый первый день, когда мы еще не знали толком, кто есть кто и кто откуда, Мурад потащил нас в пончиковую около метро. Где он разузнал про московские пончики? «Вот пончик,— говорит Мурад, утверждая, что иллюстрирует важнейший закон философии, какой — я забыл.— И вот его, пончика, нет». А мы, хохоча, глотали пончики тоже, как Мурад. «И не подавятся»,— сказала продавщица, прыснув.

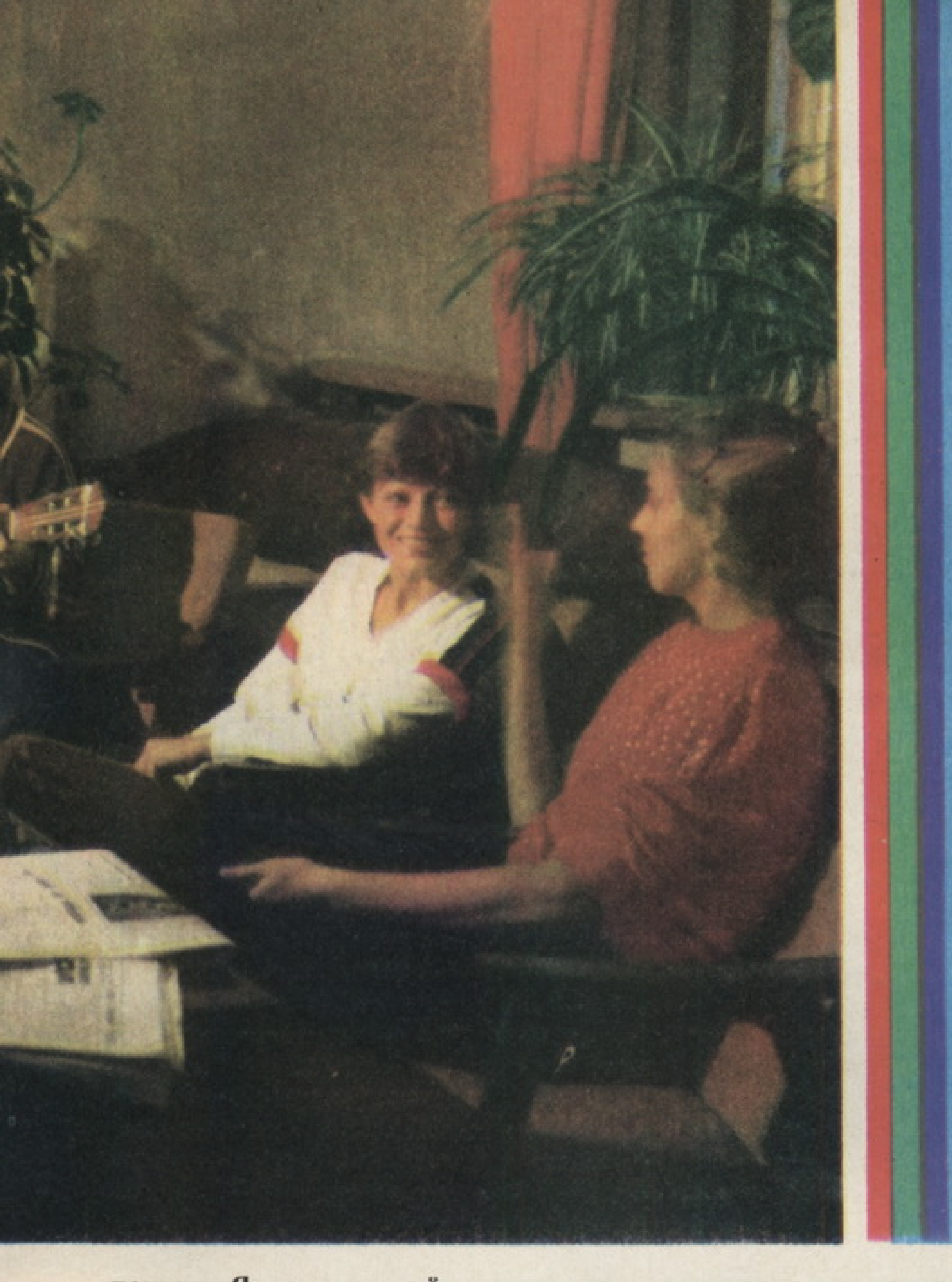
В этот холодный и яркий солнечный день я дышал холодным воздухом. Я подумал, что такой всегда воздух Москвы. Яркий, холодный, синий воздух Ленинских гор. Мы стояли где-то наверху; внизу же, как красавица в тысяче юбок, подхватив их разом, чтобы броситься в танец, что ли,— там, внизу, неслась нам навстречу и убегала вдаль столица.

Что это был за день! Мне бы его не позабыть. Мне бы им жить подольше.

В Мехико у меня часто воспалялись глаза, и я мечтал о специальных очках, противосмоговых.

Синий воздух Ленинских гор промыл мои глаза.

Я просто гулял по Москве. В автобусе я помог одной женщине подняться на сту-



пеньки. Я повторил ей много раз, что ничего не понимаю из того, что она говорит,— я чужой в этом городе.

— Из Мексики! — воскликнула она, узнав, откуда я родом.— Из такой дали.

В сетке у нее лежали яблоки. Она погладила меня по голове, и я не противился, я даже голову свою к ней наклонил. Она развязала сетку и напихала мне в карман куртки яблок. Яблоки были большие, и карманы оттопырились. Я вышел из автобуса от смущения и шел теперь в совершенно незнакомом месте. Я только знал, что где-то здесь должен быть университет. Я спросил человека. Человек рассмеялся.

— Да вот он же,— закричал он.— Сам тебя ищет!

И правда, высотное здание главного корпуса не дало бы мне заблудиться. Оно парило надо мной. Оно наклонялось ко мне, как мать, и я обрадовался ему и тихонько сказал ему: привет.

Юрий Васильевич Ивлев — преподаватель логики. «Философ,— сказал он на первой лекции,— это не тот, кто знает философию, а кто умеет философствовать. Думать. Искать истину».

Я учусь. Я ищу истину. Я следую за Платоном. Я спорю с ним.

Марина Окулова читает для меня Чехова вслух. Марина читает для меня Пушкина. Она читает с выражением, потому что я записываю ее чтение на магнитофон. Я сказал ей, что увезу ее чтение домой. Поэтому она старается. Я хочу сказать ей: ты не слишком старайся, мне так важен еще и твой простой тихий голос, Пушкин не был бы против. Но она старается, и голос ее чуть дрожит. Возможно, мне так кажется, возможно, мне так хотелось бы. Эта милая Марина считает, что она диктует на мой магнитофон как представитель великого народа, и она не хочет осрамиться. Странная девушка, и море чувств.

Пушкин в переводе, оказывается, проще!

Русский Пушкин — философ.

На занятии по русскому языку я стал читать «Жди меня» Симонова. Я знал, что русские любят это стихотворение. Мне говорили, что во время войны строчки этого стихотворения вызывали у людей слезы. Я выучил его. Я прочел. Преподавательница Галина Андреевна Бетехтина отвернулась к окну и стоит, смотрит. Я закончил. Она все стоит и смотрит.

— Хорошо, Мигель,— говорит она спустя некоторое время.

Она плакала?

Видела ли она войну?

«Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим...»

— Продолжим,— говорит она и поворачивает нам свое лицо в слезах, и теперь она похожа на Марину, читающую Пушкина, и тот же свет в них обеих.

Так началась моя жизнь в Москве.

...С чего начну потом, спустя годы, мой рассказ о Московском государственном университете?

Начну так. В аудитории, залитой утренним солнцем, напряженная тишина, идет лекция по истории философии. С огромных портретов на нас, студентов-первокурсников философского факультета, смотрят мыслители прошлого. А кругом сидят мои друзья. Слева от меня Женя Носаров. Женя пишет стихи на испанском. А вот эта красивая девушка, которая быстро строчит за лектором, Марина Окулова. Мы с ней вместе готовимся к занятиям. Прямо передо мной — Иман Бурунса. Он из Эфиопии. Его черная шевелюра сверкает в лучах солнца, как одуванчик. Иман мой лучший друг. Он отличный спортсмен. По утрам, когда я, еще не проснувшись по-настоящему, еду в троллейбусе в толкучке, Иман в любую погоду бежит на лекции трусцой. Каждый раз даю себе слово, что побегу утром вместе с ним. А вот этот большой, серьезный, даже, можно сказать, хмурый парень — Бабамурад Тахтаев.

МГУ, скажу я, заглянув в старые записи,— это действительно город в городе. Он занимает огромную территорию — 320 гектаров, на которой расположены более 40 корпусов, огромный ботанический сад, парки, скверы.

Обойти университет не так-то просто, приходится проехать несколько остановок на автобусе. Только для того, чтобы посетить около 50 тысяч университетских помещений главного корпуса — аудитории, лаборатории, научные кабинеты, надо пройти 160 километров, а если на осмотр каждого из них потратить только одну минуту, то всего потребуется 833 часа!

Студенческие лица и правда окружают меня повсюду: в университете, в автобусах, в метро — сосредоточенные, углубленные в учебник, открытые, радостные, увлеченные. В первое мое московское лето мне показалось, что Москва — большой студенческий мир, что студенты — самые главные люди в этом городе. А ведь это так и есть на самом деле: летом Москва больше всего переживает за своих студентов, абитуриентов, выпускников-дипломников. И если учесть, что в Москве около 80 высших учебных заведений, в которых учатся 650 тысяч юношей и девушек, то действительно оказывается, что Москва — студенческий мир. А наш университет — это действительно студенческое братство. Университет — это часть моей жизни. Здесь у меня появились настоящие друзья, и я не представляю, что когда-нибудь придется с ними расстаться.

Я вспоминаю. Я хочу все мелочи запомнить так, чтобы мой рассказ об университете показался бы полным. И нечего ждать, пока пройдут годы. Летом — на Всемирном фестивале молодежи — у меня найдутся слушатели — гости фестиваля. И я проведу их по солнечным аудиториям. Я счастлив, что стану участником фестиваля. Я жду фестиваль еще и потому, что смогу увидеть на нем посланцев моей родины. Я буду показывать им мой университет с гордостью.

В ДОСЬЕ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРИБУНАЛА НА XII ВСЕМИРНОМ

ДО РАССВЕТА СОВСЕМ НЕМНОГО

Иохим КРИШКА,
Карлос МАРИ,
западногерманские журналисты

JUAN VENTURA MONTALVO
5 ABRIL 82
CONCEPCIO PORTILLO MORENO
7 de MARZO 83
¿Donde estan nuestro hijos?
Comite de Madres Mon. Romero

КОМПАНЕРО ХОСЕ

С фальшивыми документами корреспондентов католической газеты мы чувствуем себя неуютно на улицах Сан-Сальвадора. У отеля берем такси. За нами увязывается белый «шевроле». Кружим по городу, «шевроле» сидит у нас «на хвосте». А между тем время условленной встречи подходит. За квартал от кафе, где была назначена встреча, отпускаем такси, идем пешком. В кафе из-за столика у окна поднялся невысокий коренастый человек. Проходя мимо нас, он шепнул:

— За вами слежка. Идите за мной.

Белый «шевроле» стоит под окнами кафе. Мы выходим через заднюю дверь во двор, откуда можно попасть на другую улицу. Минут десять плутаем по улочкам предместья. Наконец маленький дворик, несколько ступенек вниз, и мы оказываемся в полутемном подвале. Хосе, руководитель преследуемой властями профсоюзной организации, встречает нас.

Компанеро Хосе, как его называют рабочие, рассказывает о том, как рабочая солидарность вырвала его из рук смерти. Время от времени он трет свои огромные черные ладони бывшего крестьянина, он родился в деревне, смог закончить только четыре класса сельской школы, потом пошел работать, чтобы как-то прокормить братьев и сестер. Уже десять лет он работает на фабрике. Здесь он впервые узнал, что такое профсоюз, что такое борьба за права рабочих. Здесь он увидел изуродованные трупы профсоюзных активистов — с выколотыми глазами, отрезанными ушами. Товарищи погибали один за другим. Настала очередь Хосе.

— Национальные гвардейцы схватили меня на проходной, когда я утром пришел на фабрику. Они хотели, чтобы я назвал имена профсоюзных руководителей и рассказал о связях с партизанами. Они говорили, что, если я им все скажу, меня отпустят. Я ответил, что им проще убить меня, я все равно ничего не скажу. Они стали избивать меня, потом повезли на расстрел. Ночью. Они отвезли меня куда-то за город, поставили в свет от фар грузовика и сказали, что у меня еще есть последняя возможность выжить. Все сказать. Я вдруг узнал то место, куда меня привезли, в праздники мы иногда приезжали туда с женой и детьми. Я думал о них и молчал. После автоматной очереди я понял, что жив. Гвардейцы стреляли мимо. Хотели запугать.

Голос компанеро Хосе становится тише, он говорит с перерывами.

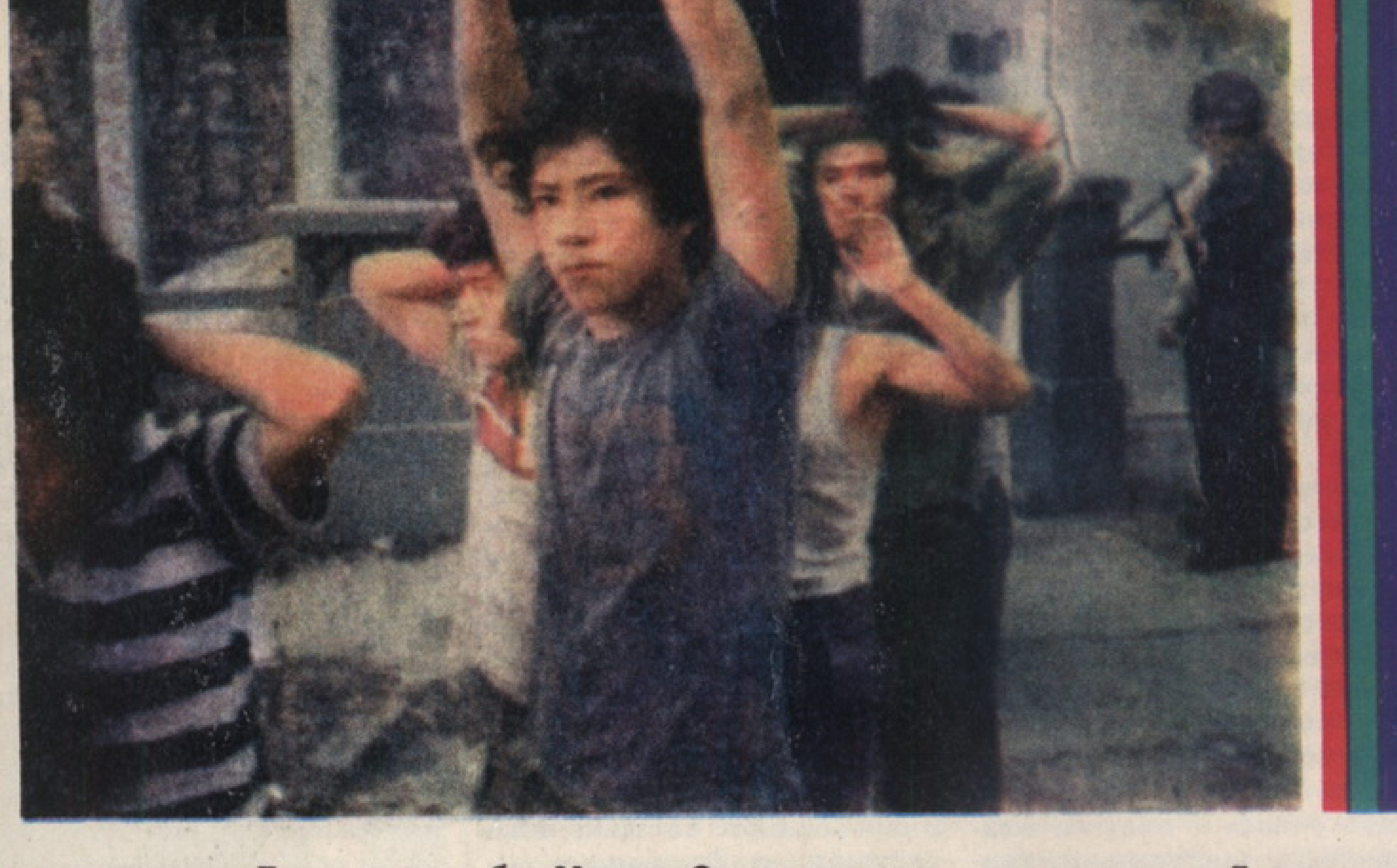
— Они снова стали меня пытать. Завязали глаза. Били по самым болезненным местам. Они пытали меня, сменяя друг друга. Потом вдруг бросили и уехали. Я им ничего не сказал, не назвал ни одного имени.

Полуживой, Хосе притащился на фабрику. Там его сразу окружила толпа рабочих. Ему все стало ясно. Рабочие бастовали. Из-за него. Как только Хосе схватили, рабочие пошли к администрации и потребовали объяснений. Им ничего не ответили, и они объявили забастовку.

— Надо было видеть лица моих товарищей! Ведь мы тогда одержали победу, маленькую, но победу. Каждый увидел, что мы сильны единством, что мы можем побеждать, несмотря на террор и пытки.

Пока Хосе говорил, в комнату вошло несколько человек. Они расселись с листками бумаги и карандашами, кто у стола, кто у подоконника, кто устроился прямо на полу. В девять часов пришел рабочий с портативным радиоприемником. От окна через всю комнату к приемнику быстро протянули проволоку, которая служила антенной. Молодой парень, совсем еще мальчик, все звали его Антонио, устроился у аппарата и стал ловить нужную волну. Все напряженно смотрели на радиоприемник. Наконец сквозь треск, грохот и шум прорвался голос Сантьяго — диктора радио «Венсеремос». Ручки и карандаши забегали по бумаге. Сантьяго сообщает о ходе боев в горах, об успехах освободительной армии, о создании органов народной власти в освобожденных районах страны, которые контролируются Фронтом национального освобождения





имени Фарабундо Марти. Передача заканчивается гимном борьбы. Антонио, переписывающий текст под копирку, не удерживается и подпевает: «Венсеремос, венсеремос!» — «Мы победим!»

ИПСИНТО МОРАЛЕС

Он раскладывает перед нами на столе фотографии. Раскопанные массовые могилы. Обезображенные, разрубленные на куски трупы. Лица специально изуродованы, чтобы нельзя было опознать убитых.

Ипсинто Моралес — один из тех, кто мужественно борется против террора правых в Сан-Сальвадоре.

— Наша работа — вскрывать и предавать гласности преступления военных. Мы пытаемся помогать людям, которые хотят знать, что стало с их пропавшими без вести родственниками.

Каждый день на окраинах города, на свалках находят свежезарытые могилы или просто брошенные трупы. Это работа «эскадронов смерти». Ипсинто со своими товарищами фотографирует убитых, чтобы люди могли опознать своих пропавших родственников. Понятно, что правительству это не нравится, жизнь Ипсинто и его друзей в постоянной опасности.

— Мы работаем по одной простой причине,— говорит Ипсинто.— Есть такое слово — справедливость. Все люди, которые к нам приходят, хотят одного — справедливости. Бороться за справедливость — значит бороться против нынешнего режима. Если будет бороться каждый, антинародное правительство долго не продержится.

Власти во что бы то ни стало хотят замаскировать свои преступления. Для этого была создана «официальная» комиссия по правам человека в Сальвадоре.

— Эта комиссия располагается в прекрасно обставленном помещении в привилегированном квартале Сан-Сальвадора,— рассказывает Ипсинто.— Ее главная цель — продемонстрировать мировому общественному мнению, что ей нечего делать, что в Сальвадоре все в порядке и с демократией, и с правами человека. Но пока мы на свободе, пока мы живы, мы делаем все, чтобы этой комиссии не удалось скрыть преступления властей против нашего народа, например кровавую расправу «эскадронов смерти» над крестьянами Ла Хора, когда бандиты перерезали горло 78 крестьянам, их женам и детям.

Ипсинто познакомил нас с одним из руководителей другой организации, занимающейся расследованием преступлений властей. Элизабет 23 года. Она рассказывает, как была создана их организация, носящая имя епископа Ромеро.

Матери и жены замученных в застенках и пропавших без вести решили обратиться к правительству и потребовать правду о судьбе своих близких. Естественно, никто не захотел с ними разговаривать.

— Женщины были в отчаянии. Тогда епископ Ромеро, к которому они обратились, пользовавшийся в народе уважением за свои постоянные выступления в защиту простых людей, против репрессий, призвал женщин, у которых были убиты или пропали мужья, братья, дети, объединиться. Это было в декабре 1977 года. Когда в 1981 году епископа Ромеро убили, было решено назвать организацию его именем. Мы устраиваем митинги, пишем письма протеста, мы не можем больше молчать. Конечно, это опасно. Но сегодня в Сальвадоре опасно все, даже просто выйти на улицу. Мы выходим из дома и не знаем, вернемся ли назад. Моего брата схватили среди бела дня. Он портной. Кто-то донес на него, что он симпатизирует партизанам. Когда за ним приехали вооруженные до зубов гвардейцы на бронированной машине, он гладил брюки. Они избили его, вытащили из дома и увезли. В казармах его страшно пытали.

Элизабет рассказывает историю своей семьи. Год назад ее семнадцатилетнюю сестру пристрелили прямо на улице. Ее мужа схватили на работе и увезли, с тех пор его никто не видел. Двоюродный брат был убит головорезами из «эскадронов смерти». В ее семье пять человек убиты или пропали без вести. Рассказывая, Элизабет не плачет. Она пережила слишком много. Она видела за свою короткую жизнь слишком много смертей. Ее голос сух и тверд.

— В Сальвадоре много таких несчастных семей, как наша. Если останется нынешний режим, их будет становиться все больше и больше. Поэтому я буду бороться, пока жива: людей нельзя убивать, нельзя детей оставлять сиротами. Такое нельзя терпеть.

КОМАНДАНТЕ РОБЕРТО

— Вот это и есть партизанский лагерь,— говорит наш проводник,— сейчас доложу о вас команданте Роберто.

Не совсем такой ожидали мы увидеть партизанскую базу. Обычная деревня. Дюжина домов на пыльной улице. Глинобитные стены, красные черепичные крыши. Нас окружает стайка любопытных мальчишек.

Проводник возвращается и ведет нас в дом на деревенской площади. В большой комнате глиняный пол. Мы садимся на циновки. Уже темнеет, мы добирались сюда целый день. За стеной женщины готовят тортильяс — кукурузные лепешки, это основная пища крестьян.

Команданте Роберто приветствует нас крепким рукопожатием. Ему чуть больше тридцати, но, как и все латиноамериканцы, он выглядит моложе своих лет.

Он вырос в маленьком го-

родке в восточной провинции страны. Отец умер, когда Роберто был еще грудным ребенком. Мать воспитывала его и шесть братьев и сестер одна. Еще до школы Роберто начал помогать старшим братьям в мастерской. Мать была членом подпольной коммунистической партии. Вечерами, когда в их доме устраивались собрания, она старалась, чтобы дети тоже слушали, что говорят старшие, разъясняла им положение в стране, необходимость борьбы за свободу. Она хотела, чтобы ее дети знали правду. Хотя в доме часто не было еды, она настаивала, чтобы Роберто, его братья и сестры ходили в школу. Роберто хорошо учился и получил возможность поступить в университет. Это было в конце 60-х годов, когда репрессии против демократических сил ужесточались, оппозиционные партии запрещались. Роберто выбрали в студенческий комитет. За поддержку демократических выступлений Роберто трижды арестовывали.

— Нашему народу все время не давали свободно выбрать свое правительство. Диктатура использовала военную силу, чтобы остаться у власти. Так было в 1972 году, так было в 1977-м. И когда мы испробовали все легальные методы, мы взялись за оружие,— говорит Роберто.

Когда в 1977 году коммунистическая партия взяла курс на вооруженную борьбу, почти все члены коммунистического союза молодежи, членом которого был Роберто, ушли в партизанские соединения.

Роберто остался работать в подполье. За ним охотилась полиция. Несколько раз он чудом оставался в живых.

— В марте 1980 года ко мне пришел наш товарищ и сообщил, что решено отправить меня в горы. С того времени я в освободительной армии.

Проходит всего год, и Роберто командует фронтом имени Анастасио Агуино, который охватывает три провинции.

— В начале борьбы нас было немного. А сейчас вместе с нами против режима борется весь народ. Целые деревни участвуют в выполнении боевых задач. В освобожденных районах, которых с каждым годом становится все больше, начинается строительство новой жизни. Народ сам выбирает органы власти, которые налаживают производство, торговлю. Везде строятся больницы, устраиваются детские сады. Люди на себе чувствуют, что они приобретают с приходом новой власти. Крестьяне видят в нас своих защитников и делятся с нами, чем могут, продуктами, одеждой. Но, откровенно говоря, нам очень тяжело. У нас мало продовольствия, не хватает оружия, нет медикаментов. Правительственные войска уничтожают скот и посевы, чтобы мы погибли от голода. Огромная проблема с обувью, многие наши товарищи воюют босыми. Еще сложнее с оружием — мы сражаемся тем, что добываем в бою. Мы никого не держим насильно. Кто хочет уйти, может уйти. К нам приходят только по убеждению, и поэтому мы сильнее всех их «эскадронов смерти», всей тайной полиции и национальной гвардии.

В глазах Роберто добрая и одновременно грустная улыбка. Он рассказывает, как одна девушка плакала, когда ее не взяли на опасную операцию. В его отряде много девушек, и вообще, партизаны, как правило,— молодые ребята в возрасте до 20 лет.

— К сожалению, гибнут эти мальчишки и девчонки совсем как взрослые.

Но жизнь — везде жизнь. Роберто рассказывает, как был посаженым отцом на партизанской свадьбе, что его ребята сочиняют стихи, песни, пишут картины.

— Если бы мы боролись только с нашим правительством, его власть не продержалась бы и дня. Нам приходится сражаться с врагом более сильным и страшным, ведь за спиной сальвадорского режима — США со своими миллионными кредитами. Они называют это помощью нашему народу. Лучше бы на эти деньги они присылали нашим детям лекарства.

Мы беседуем с команданте Роберто почти до утра. Еще затемно группа, которую ведет сам команданте, уходит на боевое задание. Они уходят в темноту, их лиц не видно, только силуэты на начинающем светлеть небе. Они уходят молча, твердым, уверенным шагом. До рассвета осталось совсем немного.

Меня зовут Виктор Трпков. Я из Болгарии, из Софии. В Москве я учусь в институте, который не имеет особенного отношения к спорту. Это ВГИК. Но я давно занимаюсь спортом и люблю эмоции, которые он мне дает.

В детстве я мечтал быть футболистом. Но один раз мама пришла за мной на стадион и сказала: «Виктор! Ты чем будешь заниматься в жизни — футболом или серьезным делом?» Но сейчас я часто не могу понять, что в жизни более серьезно — футбол или кино? Ведь на футболе люди плачут и кричат, а в кино часто кусают ногти со скуки. Кино может позавидовать той эмоциональной силе, которая есть у спорта.

О Москве спортивной рассказать трудно — так она многообразна. В Москве десятки стадионов, тысячи спортсменов, чемпионов всех рангов и видов спорта, более двух с половиной миллионов москвичей занимаются спортом. И я решил рассказать о двоих — о старом спортсмене Кувшинникове, бывшем среди тех, кто начинал спорт в Москве, и о хоккейном тренере, директоре школы олимпийского резерва «Динамо» Яне Каменецком, человеке сегодняшнего спорта. Что меня привлекло в этих людях? В них есть доброта и искренность, так трудно вытягиваемые режиссером от актеров. Через их судьбы как бы видна история советского спорта.

В монтаже бывает так: режиссер склеивает два кадра и получает неожиданно совершенно новое ощущение. Этот рассказ написан приемом монтажа. Прошлое и настоящее чередуются. Я не хочу навязывать вам это ощущение, уверен, что оно возникнет в вас само, когда вы дочитаете до конца. Спортивное прошлое вызывает в нас ностальгию по чистоте и искренности тех людей, которые с трудом и с любовью начинали московский спорт. Спортивное настоящее вызывает в нас радость и уверенность в том, что для москвичей открыты все горизонты, все стадионы.

Спорт в Москве в 1919 году

Спорт жил на пустырях. Королем спорта был футбол. Известнейшими футбольными пустырями были Горючка на Тишинке и Ходынка. На Ходынку по воскресеньям собиралось до сорока команд. Зимой популярен был бег на коньках. Катались на Патриарших и Чистых прудах, на частном катке на углу Октябрьской улицы и Сущевского вала. Видом спорта на все времена года считался кулачный бой, стенка на стенку, где была своя возрастная разбивка: огольцы против огольцов, парни на парней, а мужики на мужиков. Спортивные клубы уже существовали: «Унион», «Ореховцы» («Морозовцы»), Британский клуб спорта, клуб «Санитас» в Петровском парке, ОППВ в Сокольниках имел лучший в Москве стадион с деревянными трибунами на шесть тысяч зрителей...

Каменецкий

Тренер Ян Каменецкий выглядит щеголевато. У него черные бакенбарды и усы. Электрически-синие тренировочные брюки широки, как шаровары, и заправлены в высокие сапожки коньков. На руках маленькие краги. Клюшку он держит с изяществом, будто это не орудие боя, а тросточка денди. Так он и покатывается в центре поля, закладывая небольшие круги то влево, то вправо, пока его двадцать парней в разноцветных свитерах лавиной несутся по льду, передавая друг другу быстрыми частыми пасами сразу десяток шайб.

Кувшинников

«1919 год был голодный год. Ели хлеб из примесей, суп, в котором было пшена немного, да вобла-пузоног».

«Но спортом заниматься рвались. Любили спорт очень. Система обучения на курсах была практической. Целый день бегали, прыгали, метали, играли, а вечером в полной прострации валились на кровать. А с утра опять на занятия строем с песней. Песню мы сами для себя сочинили, бодрую спортивную песню с припевом-кличем: «Эла-Шо! Эла-Шо!»...

Каменецкий

Дав задание, Каменецкий встанет, облокотившись о борт, и смотрит, как работают его мальчишки. А они работают зло — сшибаются в углах, скрежещут коньки, ударяются клюшки, шайба бьет в борт, как в бочку. Вдоль борта, ударяясь о плечи, сквозь частокол клюшек пробивается мальчишка, у кото-

ДВОЕ И ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА

Виктор ТРПКОВ,
студент режиссерского факультета ВГИКа



Кувшинников

«Амуниция у спортсменов начала двадцатых годов была такая — тапочки из шинельного сукна, трусы из портяночной бязи. В этом и боксировали, и боролись, и легкой атлетикой занимались, и гимнастикой тоже».

Алексей Петрович Кувшинников показывает фотокарточки. Они на серой картонке, со штампом: «Москва, Зацепский вал, 3. Фотография «Венера». Молодой атлет стоит в плавках, опершись локтем на колонну, небрежно скрестив ноги. Бицепсы на руках круглы, как мячи. Дольки брюшного пресса рельефны. Широкая грудь тяжелоатлета. Пострижен очень коротко, чуть ли не наголо. И хотя тут ему ненамного больше двадцати, выглядит он старше, из-за серьезного выражения волевого лица, из-за силы, такой явной в этом теле, напоминающем античные статуи дискоболов и борцов.

«Вы знаете, сколько мне лет?» — спрашивает Кувшинников. «Нет».— «Восемьдесят семь». Он заглядывает мне в глаза карими веселыми глазами. «А ну-ка попробуйте!» И он подставляет мне напряженный бицепс — я щупаю и под свободной тканью пиджака уважительно ощущаю широкую выпуклую гору. «Каждый день сорок минут занимаюсь!»

Каменецкий

На хоккейной тренировке, где игроки несутся с такой скоростью, что ветер пузырем надувает у них свитеры на спине, тренер Каменецкий изъясняется как-то уважительно-неспешно: «Понимаешь, в чем дело...» (скажет он двенадцатилетнему центрфорварду). И одно из самых употребительных выражений у него на тренировке: «Ребята! Просьба такая есть...»

«Детский тренер в игроках видит людей, равных себе,— так это объясняет сам Каменецкий.— Но не ослабляет требовательности. С взрослыми проще. С детьми психология тоньше намного. Никогда нельзя что-то диктовать, опираясь на свое возрастное превосходство». И, говоря о положительных качествах какого-нибудь из своих мальчишек, он обязательно скажет: «Душевный...»

И при том, что в Каменецком есть дар рассмотреть в человеке еще не проросшее зернышко (недаром на тренировке он смотрит; там, где другие стали бы командовать, исправлять, требовать, он смотрит, что-то понимая про себя о каждом из своих игроков),— самоуверенности в нем нет, и редко когда услышишь от него окончательный приговор: «Не способен!» В нем чувствуется душевное колебание, когда он рассказы-

рого на спине латинскими буквами написано «A. Sandakov». Каменецкий стоит у борта, смотрит, не вмешивается, командами не сыплет, фельдмаршала перед мальчишками не строит, но все видит, видит прилив и отлив игры, чувствует, кого надо подбодрить, четким тренерским глазом в чехарде на льду различает маленькие важные ошибочки, которые надо поправить. И тогда говорит: «Смотреть на цель надо! На цель, Дим!» Загнанного в угол A. Sandakova, почувствовав, что тот обессилел и на секунду духом упал в толкотне с защитником, который на голову выше, подбодрит: «Вылезай, вылезай оттуда, давай!» Или легкая укоризна зазвучит в голосе: «Кому, Вовка! Вов!» На его реплики игроки не отвечают, даже голову на них не поворачивают, но только сильней толкаются, быстрей летят, как защитник Вовка, который, прикусив нижнюю губу, всю душу свою вкладывает в пас. А иногда Каменецкий как бы и про себя говорит, под нос вдруг хмыкнет, ухмыльнется, прокомментирует: «Позабыли игрока! А он растерялся и не знает, что делать!» — как камешек точно бросит и в кого надо попадет. И кому-то чтото покажет в конце — не всем гуртом одно и то же, а одному и то, что именно ему надо. Плавно, чуть замедленно подхватит шайбу, с крюка ее выпустит слабеньким, даже небрежным движением кистей — шайба грохнет в борт: «Видишь, Андрей?» Тот стоит, опершись на клюшку, в фиолетовом застиранном свитере. «Это бросок должен быть, а не игра момента!» И Андрей, у которого на лице, как у старого хоккейного волка, не дрогнет ни один мускул, едет в угол, подхватывает шайбу и бросает ее раз за разом в ворота.

вает о том, как искать таланты: «Есть тест. Гениальный игрок должен иметь десять определенных качеств. Но даже если одно или два...» Кто скажет определенно и точно, что тихоход не сможет развить в себе быстроту, а слабак силу? В двадцатые годы, когда начинался московский спорт, два брата, Николай и Андрей Старостины, не имея в задатках быстроты и силы, создали их в себе,— один совершал по сто ускорений в день, другой делал в день по пятьдесят приседаний. «Чем я виноват, что тебя отец научил кататься на коньках, а меня нет,— говорит Каменецкий за всех тех мальчишек, которых обычно хоккейные тренеры отвергают с порога.— При приеме важна не подготовка, а способности. Я, например, черчу на земле круг. В этом круге трое-четверо уворачиваются, а один должен осалить. А я смотрю — и все видно! Один выберет другого и бегает за ним, на остальных никакого внимания. Второй за кем-то погонится, развернется, обманет, сменит направление, запутает, всех перехитрит и осалит. А, значит, что-то есть, координация, ловкость — игрок!»

Кувшинников

«Это сейчас ранняя специализация. А я играл в хоккей с мячом, в баскетбол, в волейбол, в ручной мяч, в футбол, в большой теннис, в городки. Занимался тяжелой атлетикой, толкал ядро, метал диск, в боксе выступал в полутяжелом весе. Эти бои были не шутка — как хук в голову «завезут»...» Он смеется.

«Был в Москве, еще до революции, журнал «К спорту». Его основал большой любитель спорта Борис Михайлович Чесноков. Его сын, Юрий Борисович, сейчас тренер команды ЦСКА по волейболу. И вот журнал «К спорту» учредил кубок для «диких» футбольных команд. Я тогда играл в футбол за Новослободский кружок спорта. Тренироваться лазили через забор в парк на улице Палихе. Футбол был другой. Сейчас команда тренируется три раза в день, а мы всего два раза в неделю. И система была другая — 5—3—2—1. Каждый держал свое место. Игроку так и говорили: «Держи свое место!» А сейчас говорят: «Мотай по всему полю!» Один раз поехали на игру на трамвае, а он сломался. Наняли подводу, залезли на нее всей командой, купили два арбуза и ехали так к Семеновской заставе, через всю Москву...»

«В хоккей с мячом я играл за фабричную команду «Печатники» левым полусредним. Один раз встречались с «Динамо» на Чистых прудах. Мне клюшкой бровь разбили. А клюшки были не то что теперь, теперь легонькие, вот они ими так машут...» Алексей Петрович вдруг делает круговое быстрое движение у головы, как будто из пращи собирается выпустить камень. Чувствуется метатель со стажем... «А наши клюшки были тяжелые, камышовые. Сами их делали. Покупали у ломовых извозчиков дугу, распиливали на шесть частей. В зонтичном магазине покупали камышовые палки. Прикрепляли к дугам. Такую клюшку только двумя руками можно было держать».

«Платочком я тогда на Чистых прудах бровь перевязал. А к вечеру у меня матч по баскетболу. Дают спорный мяч, я прыгаю, мне локтем попадают прямо в бровь. Кровь льет. Опять перевязал и доиграл матч. Энтузиаст был! И не я один... Спортивная общественность была! А спортсмены в Москве были! Павел Васильевич Никифоров, абсолютный чемпион России и СССР по боксу. Александр Александрович Демин, десятиборец. Лыжница Нина Ивановна Дубинина. Все заслуженные мастера спорта. Они бы с нынешними сразились — кто бы лучше был? Кое-кто тогда стометровку за 10,6 бегал, а ведь не было ни тартановых дорожек, ни легкой обуви. В футбол играли в тяжелых импортных бутсах «Скрум» (у кого они были), а не в полуботиночках, как сейчас. А какой лыжник был Павел Бычков! Он служил дворником в Обществе любителей лыжного спорта в Сокольниках. Там все на лыжах бегали, он встал тоже и дважды выиграл первенство России. Так члены общества после этого не хотели его в соревнования принимать, потому что они-де спортсмены, а он дворник. Это еще до революции было...»

Каменецкий

В 1979 году в Липецке на турнире детских команд Каменецкий увидел мальчика Женю Штепа. «Он корявенький был, техника у него хромала. Но у меня сомнений не было, что это — игрок. Мощный такой левый край, с окаянным хватом. (Так мы называем, когда левая рука вверху клюшки.) И черты характера у него были присущие сильным людям, упорный, смелый, терпеливый. Я решил взять его в Москву, в спортинтернат...»

Но отец, Юрий Трифонович, был против. Женя отличник, шел на медаль. Сам Юрий Трифонович металлург на Новолипецком металлургическом комбинате и сына в будущем хотел видеть инженером. Даже институт был намечен — МАИ. Так и не отпустил Женю...

Каменецкий уехал в Москву, но о высоком, боевом левом крае шестнадцати лет не забыл. «Две недели подряд я звонил его отцу в Липецк и уговаривал. Он приехал летом и десять дней жил у меня дома». Через четыре года, в 1983-м, в Ленинграде играл в молодежной сборной СССР и стал чемпионом мира. «А потом был матч в Москве, «Спартак» — «Крылья Советов». Он уже играл за команду мастеров «Крыльев», гол там забил, матч кончился 3:3. Родители на эту игру прилетели. После я к нему подошел: «Женя, как дела?» — «Спасибо, что все у него сложилось!» Это мне отец его ответил...»

Кувшинников

«В Москве настоящих стадионов практически не было, одни пустыри, кое-где с деревянными трибунами. Всегда они были полны — народу на состязания столько собиралось! Мы тогда решили строить стадион с павильоном, с залом для занятий. На Красной Пресне, за зоопарком, был когда-то пруд. Его завалили свалкой. Тут и стали строить. Я повсюду ходил, у губернского инженера проект утверждал (сам же и составил), так что в конце концов меня прозвали «Алексей Петрович со свалки». Проект утвердили, а нет ничего — ни инструмента, ни рабочих, ни материалов. Пошел к начальнику коммунального хозяйства Москвы Лаврову. «Москве нужны стадионы! Мы строим стадион. Но у нас не хватает ничего... Но когда мы выстроим наш стадион, мы назовем его стадион имени Лаврова!» Так он мне все дал! — смеется Алексей Петрович.— А стадион и сейчас на том же месте...»

Каменецкий

Сняв коньки, облокотившись о бортик хоккейного поля, маленький, весь состоящий из жестких тренированных мускулов, Каменецкий говорит о своих нынешних мальчишках и о прошлых. «У меня была тройка Коршунов — Харин — Пряхин. В 1979-м в Уфе мы с ними выиграли «Золотую шайбу». В 1981-м в Минске они стали чемпионами Европы среди юниоров. Харин и Пряхин сейчас в «Крыльях Советов», а Мишка Коршунов кончает институт физкультуры. Хоккеистами становятся не все. Костя Колесов сейчас учится в МАИ, Андрей Рощин в институте нефти и газа. Володя Новиков в автодорожном. Спорт учит в жизни добиваться своего и успевать все. Главное, что они теперь сильные люди».

Спорт в Москве в 1985 году

В Москве 68 стадионов, 1627 спортивных залов, 49 бассейнов, 482 футбольных поля и 263 корта. Напротив Воробьевых гор, где в 1919 году был финиш кросса, сейчас Центральный стадион имени В. И. Ленина. Его Большая арена вмещает сто три тысячи зрителей. Здесь же неподалеку Дворец спорта на десять тысяч зрителей (во Дворце спорта во время фестиваля пройдет ледовый бал, в котором будут участвовать лучшие советские фигуристы).

В Москве несколько крупных спортивных комплексов. Кроме Лужников, это «Динамо», стадионы МГУ и «Москвич», стадион и Дворец спорта в Измайлове. (Все они будут предоставлены участникам фестиваля. На стадионах МГУ и «Москвич» пройдут футбольные матчи сборной Москвы против сборных городов — столиц фестиваля. В Измайлове, во Дворце спорта, вмещающем четыре с половиной тысячи человек, с показательными выступлениями предстанут гимнасты.) Кроме того, в Москве около 2 тысяч спортивных площадок во дворах.

В Петровском парке, где когда-то был спортивный клуб «Санитас»,— стадион «Динамо». А в Сокольниках на месте стадиона ОЛЛС — ОППВ — спортивный комплекс — футбольное поле, шахматный павильон на сто столиков, площадки для волейбола и баскетбола и крытый каток с искусственным льдом — база хоккеистов московского «Спартака»...

Москва — по-настоящему спортивный город.



В ДОСЬЕ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРИБУНАЛА НА XII ВСЕМИРНОМ

«ИЩИТЕ СЕБЕ РОДИНУ НА ЛУНЕ!»

Игорь БЕЛЯЕВ,
доктор исторических наук,
член Президиума антисионистского комитета

Перед вами дневник полковника резерва израильской армии Дова Иермии. Он ветеран войн с арабами. Получил звание полковника еще в 1949 году. Участвовал в первом вторжении Израиля в Ливан (операция «Литани») в 1978 году. Четыре года спустя вступил добровольцем в специальный отряд «по работе с гражданским населением ливанского юга».

10 июня 1982 года Дов Иермия оказался в Сайде — административном центре Южного Ливана. Увиденное там ошеломило его. Полковник стал вести дневник. В нем он записывал все, что видел и слышал.

Дов Иермия — стопроцентный сионист. «Террористами» он называет всех палестинских арабов, чем удостоверяет свое явно предвзятое отношение к проблеме проблем Ближнего Востока. Однако от этого его свидетельство не становится менее достоверным.

Дневник Дова Иермии, опубликованный во Франции,— документ огромной разоблачительной силы. О творившемся в Ливане в первые дни вторжения, в начале «самой длинной» войны Израиля. Потом уже было 16—18 сентября 1982 года, когда произошло нечто потрясшее человечество, весь цивилизованный мир,— бойня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила.

Четверг, 10 июня 1982 года. **В восемь часов бомбардировка прекратилась. Айн аль-Хильве[1]. Самоходки прочесывают улицы, а мощные громкоговорители приказывают населению собраться на берегу моря на въезде в город у монастыря. Запасы воды и продовольствия недостаточны для удовлетворения потребностей арестованных, часть которых лишилась всего. Однако снабжение водой и хлебом этих людей в течение одного или двух дней стоило бы дешевле, чем одна бомбардировка с одного самолета...**

В моей голове теснятся впечатления этого дня. Самое страшное — это несчастное положение гражданского населения. Несмотря на комендантский час, люди — на улице. Тысячи беженцев, отовсюду возвращаются в Айн аль-Хильве. Слышатся рыдания, вызванные гибелью близких.

На заседании штаба я потребовал, чтобы задержанным[2] и населению раздавали воду и продукты. Командир резко ответил: «У них достаточно пищи дома. У арабов есть обычай запасать продукты, и нечего о них так уж беспокоиться». Я сказал, что их дома разрушены. Если там и были запасы, то отыскать их невозможно, тем более что мы второй день подряд фактически держим население в заключении. На это мне заметили: «Ты весь день проводишь на улицах, хотя мы тебе это запретили. Ты подвергаешь себя опасности. Лучше пусть умрет тысяча арабов, чем мы потеряем одного из нас».

---

[1] *Айн аль-Хильве — лагерь палестинских беженцев около Сайды.— Здесь и далее прим. И. Беляева.*

[2] *«Задержанные» — термин, пущенный в оборот в Израиле, чтобы не употреблять такого общепринятого точного определения, как «арестованные».*

Пятница, 11 июня. Трупный запах пронизывает весь город. В военной администрации не было сказано ни слова о том, чтобы извлечь тела погибших, похоронить их. Многие семьи сами хоронят умерших. По словам мэра города, только в убежище одной из школ в центре не меньше двухсот трупов. Сотни трупов разбросаны по городу.

У меня ощущение, что на этот раз многие солдаты поймут, сколь велики преступления и ошибки, совершенные Израилем, когда он начал эту войну. Мне кажется, многие страдают при виде того, что мы превратились в дикую орду, для которой огонь, разрушение и смерть стали как бы второй натурой.

Вечером стало известно, что убит израильский офицер. Сразу же начинается страшный обстрел лагеря Айн аль-Хильве. Стемнело, но огневой шквал не прекращается. На одном из этажей дома, в котором я нахожусь, в ночь на субботу верующие солдаты устроили молитву. Они во весь голос распевают радостные праздничные гимны. На доме повешена табличка с надписью «Синагога Сайды». Мне стало трудно сдерживать гнев, и я ушел. Армия продолжает сеять смерть и разрушение. А эти люди как ни в чем не бывало празднуют субботу. Я ненавижу их. Мне стыдно, что я принадлежу к этому отныне наглому, спесивому и жестокому сброду, способному возносить песнопения на развалинах.

Суббота, 12 июня. Сайда. Этим утром бомбардировка Айн аль-Хильве возобновилась. Такой войны, как эта, я не видел. И вправду, война это или гигантские учебные стрельбы израильской армии!

Бронетранспортеры вновь выведены на городские улицы. Еще десятки тысяч людей согнаны на берег моря. Солдаты проявляют по отношению к ним крайнюю жестокость. Не помогают никакие просьбы, никакие мольбы.

Один офицер, все еще находясь под впечатлением увиденного, рассказывал:

— Я провел ночь на балконе, выходящем на главную улицу. Задержанных отпустили, и они постепенно возвращались. Они шли шатаясь, как пьяные. Время от времени кто-то из них падал, товарищи помогали подняться и продолжать путь.

Воскресенье, 13 июня. Во дворе собраны пять-шесть сотен «приведенных»[3]. Они стоят на солнце, руки связаны за спиной, у некоторых повязка на глазах. Их охраняют солдаты с автоматами на изготовку. Некоторые пленники ранены, они тоже ждут на солнце. Я замечаю пожилого мужчину, сидящего, прислонясь к колонне здания. На глазах повязка, руки связаны. Вооруженный солдат не переставая бьет его по лицу. У пленника все лицо в крови, но солдат продолжает его избивать. Я спросил у солдата, в чем дело. «Это один из самых опасных,— ответил солдат.— Он все время пытается освободить руки. Пусть все остальные пленные видят, как я его бью, чтобы им было неповадно. Попытки неповиновения уже были, пусть извлекают уроки». Тогда я спросил: «Кто дал тебе приказ так вести себя!» — «Командование части». Чтобы полностью ввести меня в курс дела, он добавил: «Они этого заслуживают».

Чуть дальше я вижу двух здоровенных солдат. У них в руках резиновые дубинки. Они ходят между рядами и без разбора бьют направо и налево. Их удары приходятся по головам, плечам, спинам, рукам. За ними идет третий солдат. Он выправляет нарушенный строй. Хватая людей за волосы и водворяя на место, он выстраивает всех снова в ряд.

Пленные получают приказ сидеть, согнувшись вперед, голова между коленей. Воздух пропитан запахом нечистот. Кое-кто, похоже, потерял сознание. Другие стонут, потихоньку плачут от боли и страха. Некоторые просят дать им немного воды. Раненые умоляют оказать им помощь. Некоторые молятся. Наконец, есть такие, что сидят молча, смело глядят вам прямо в лицо, и в глазах их сверкает ненависть.

Суббота, 19 июня. Сайда. Судну с грузом 700 тонн продовольствия и одеял, срочно закупленных миллионером из Сайды Харири, запрещено встать на якорь. Решение об этом было принято на самом высоком уровне. Никто не знает, разрешат ли его разгрузку, и если да, то когда.

Я слышу по радио о широкой гуманной помощи, которую оказывают армия и израильский народ жителям Ливана. Какая лживая пропаганда!

Суббота, 26 июня. Сайда. Впервые «террористы» демонстрируют такое мужество в войне с Израилем. Возможно, их инфраструктура будет разрушена, руководство уничтожено, но в этой войне родилось новое поколение, начался новый период, который останется в палестинских анналах как героический момент, на примере которого будут воспитываться грядущие поколения. И поскольку наши руководители и наши военные стратеги ничего не увидели, ничего не поняли и ничему не научились, следующая кампания будет в десять раз труднее.

Воскресенье, 27 июня. Тир. Этим утром был оцеплен квартал Хилялие. Население подверглось новому унижению. Солдаты приказали жителям разделиться на три группы: христиан, мусульман и палестинцев. Вчера был блокирован другой квартал. Там метод был усовершенствован. Христиан выстраивали в тени, а мусульман и палестинцев на солнце.

Среда, 19 января 1983 года. Возвращение в Сайду. На сей раз в качестве члена комитета «Граждане за гуманную помощь в Ливане». Меня принял палестинский друг, член комитета беженцев Южного Ливана в Айн аль-Хильве. Здесь я услышал свидетельство одного из заключенных, освобожденного из Ансара, лагеря «для перемещенных лиц». Вот его рассказ.

«Я был арестован просто потому, что на меня указала «обезьяна» (такое прозвище получили доносчики; пряча лица под капюшоном, они указывали израильтянам «террористов» среди задержанного населения.— *И. Б.*). Нас собрали во дворе монастыря. С момента ареста всех без разбора били, морили голодом и жаждой, унижали. По меньшей мере семь заключенных умерли.

Затем нас запихнули в автобусы, чтобы везти в Израиль. Когда мы не понимали приказов или выполняли их недостаточно быстро, нас избивали. На глазах — постоянно повязки. В автобусе нас заставили опустить голову на спинку переднего сиденья. Всякое неповиновение наказывалось побоями.

В Бияде колонна остановилась, солдаты вышли по нужде. Нам выйти не разрешили. 55-летний Абу Сухейль Али из Айн аль-Хильве, сердечник и диабетик, плохо себя почувствовал. Он все просил, чтобы ему дали выйти глотнуть воздуха. Перед остановкой в Бияде, когда автобус еще двигался, солдат вытолкнул его наружу. Он упал на обочину и умер. Его сын Сухейль был в автобусе. Он хотел выскочить, чтобы помочь. Но его остановили и жестоко избили. Тело скончавшегося унесли солдаты. Семья в Айн аль-Хильве так и не получила тело, ей неизвестно, где его похоронили. Сухейль же до сих пор сидит в лагере Ансар.

В Мегиддо (в Израиле) допросы сводились в основном к требованию признать, что все мы члены одной из палестинских организаций. В конечном счете все «признались». Было ясно, что избиения будут продолжаться, пока из нас не вырвут признания. Нас заставили облачиться в военную одежду, которая служила затем в качестве «доказательства» для следователей, которые утверждали, что в момент ареста мы были «солдатами».

Обычно нас допрашивали группами по пять человек. Одного допрашивали, а остальные смотрели, чтобы быть потом сговорчивее. Чтобы запугать наиболее непокорных из нас, допрашивающие держали на поводках собак. В Мегиддо была яма, окруженная колючей проволокой. Там находились некоторые заключенные. Били дубинками всегда одни и те же — специалисты. Они старались поразить наиболее чувствительные части тела. После трех недель, проведенных в Мегиддо, меня перевели в Ансар. Когда мы, связанные, с повязками на глазах, приехали, на нас вновь обрушились удары. Они использовали главным образом колья от палаток.

Лагерь Ансар разделен на зоны по 400—500 заключенных в каждой. В одну палатку втиснуто по 30 человек. Спали вповалку на земле, стиснутые, как сардины в банке, повернуться было невозможно. В каждой зоне есть специальная камера. Она сделана из листового железа с таким расчетом, чтобы помещенный в нее человек

[3] *Это тоже новый израильский термин. Он употребляется вместо общепринятого «интернированные».*

не мог сесть или вытянуться. В ней можно только стоять, а вместо пола — гравий и железки. Летом в камере невыносимо жарко. Обычно наказание продолжалось четыре часа. Многих извлекали оттуда в бессознательном состоянии с окровавленными ступнями.

Во время первой поверки комендант лагеря обратился к нам с маленькой речью: «Вы обезьяний народ. Вы террористы, и мы размозжим вам черепа. Вам нужна родина! Ищите ее на Луне! Если кто-то жаждет приключений, будем стрелять».

Иногда, правда, встречались и человечные солдаты и офицеры. Они немножко говорили с нами, особенно во время приема пищи. Израильтяне были удивлены, когда узнали, что среди нас есть интеллигенты, преподаватели, люди всех профессий. Они признались, что считали всех заключенных дикарями.

Во время празднования рамадана женщины подошли к лагерю. Они плакали и издали звали нас. Некоторые из нас приблизились к колючей проволоке, за ними последовали другие. Никто не угрожал солдатам и не ломал заграждений. Но солдаты принялись стрелять. На земле остались двое убитых и восемь раненых.

Белая машина приезжала за нами и увозила на допросы. Когда она привозила заключенных обратно, их тела были в сплошных кровоподтеках, у некоторых — сломаны руки. При виде этих мучений я всякий раз терял надежду, мне не хотелось есть, не хотелось больше жить. Я думаю, что все, кто прошел через этот лагерь, не может остаться физически и психически нормальными. После допроса у меня в течение 28 дней были кровотечения. Даже сейчас у меня опухшее лицо и тело, бывают боли.

Меня выпустили месяц назад. Когда меня вызвали, я подумал, что предстоит очередной допрос. Но мне вдруг объявили, что я свободен. Мне не дали никаких объяснений. Комендант собрал всех, кого предстояло выпустить, и обратился к нам с суровой речью, сопровождаемой угрозами по поводу нашей деятельности в будущем. Затем каждый из нас получил удостоверение, в котором записано: «Освобожден из Ансара».



МАЛЕНЬКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОСКВЕ ИСКУССТВ

Амрита АРЬЯЛ,
студентка факультета журналистики Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Москва искусств — эта тема бесконечна, как бесконечен был бы маршрут того, кто захотел бы посетить все московские театры, выставки, концерты. Москва искусств — это выставки живописи в маленьких уютных залах на Кузнецком мосту и в просторных залах на Крымской набережной; это концерты классической музыки в консерватории и в зале Чайковского и выступление джазовой группы «Арсенал» в зале «Октябрь» на Калининском проспекте. Это театры Москвы с их вечным рефреном: «Нет лишнего билетика?» Ежевечерне на московских сценах поет свои иронические песенки мольеровский Скапен и пляшет, извиваясь в потоке звука и света, Тиль Уленшпигель, герой гёзов, выхватывает шпагу Сирано де Бержерак и звучит соло для часов с боем. Это и музеи — множество больших и малых московских музеев, раскиданных по городу, непохожих один на другой, как не похожи огромный Музей имени А. С. Пушкина и мемориальный музей-квартира Сергея Эйзенштейна на Смоленской...

Куда пойти? Что увидеть в несколько фестивальных дней? Кто рискнет сказать, что одна выставка интересней другой, что концерт в парке культуры интересней, чем концерт в Коломенском? Тут на все есть свои «за» и «против». Тут есть зрелища на любой вкус. Ведь этим летом Москва искусств и Москва фестивальная сливаются в одно, и манят вечерними огнями театры, концерты, выставки, раскиданные повсюду внутри Садового кольца, по центральным улицам и по набережной Москвы-реки. Так все-таки куда же?

Совсем не претендуя на

полноту и руководствуясь своим вкусом и тем, что я видела и что узнала в Москве за три года, которые живу в ней, я предлагаю вам маленький путеводитель по Москве искусств.

Театры

Если уж вы решите познакомиться с московскими театрами, то начать нужно с Большого, известного на весь мир. И не только потому, что здесь сейчас выступают лучшие балетные и оперные артисты Советского Союза. Большой театр неотделим от Москвы и от русского искусства — не только оперного или балетного. Поэт Сумароков положил жизнь на то, чтобы в Москве был театр, не уступающий петербургским. Он чуть ли не с каждой почтой писал императрице Екатерине, «бомбардируя» ее просьбами, прошениями и требованиями создать театр в Москве: «Изготовляя план театра, стараюсь я о хорошего оного основания...» Золоченые витые ложи театра помнят веселого Грибоедова, помнят и Пушкина, как он явился сюда на четвертый день после ссылки, жадный до музыки, до балета, до славы! И вот он здесь, в зале, где винного бархата и позолоты пополам,— двадцати семи лет, малого роста, с жесткой спиной наездника: «Мгновенно пронесся по всему театру говор, повторявший его имя: все взоры, все внимание обратилось на него...»

Большой театр разделял с Москвой ее судьбу — так же, как Москва горела в 1812 году, ее театр горел в 1853-м, и оба они, театр и город, возникали потом заново. А в 1941-м, когда гитлеровская авиация бомбила дома Москвы, театр тоже получил бомбу, которая пробила стену и «ранила» Аполлона, что стоит на высоте рядом с конями, вздевшими копыта. Тогда же, в 1941-м, когда фашисты полукольцом охватывали Москву и готовились к решающему удару, начались реставрационные работы. И даже во время войны тут звучала музыка, и на сцене шел балет, и балерины совершали свои прыжки на пуантах, руки сложив веночком, наклонив головы, одинаково разделенные на пробор. В августе 1944-го, в день, когда Совинформбюро объявило о взятии румынского города Плоешти, в Москве, в Большом театре, праздновали столетие первой постановки в России «Жизели» Адана, и перед залом, где половина мужчин была в военной форме, танцевала молодая балерина Плисецкая маленькую партию во втором акте...

В дни фестиваля в Большом театре будет работать международная творческая мастерская классического и современного музыкального искусства. Но даже если у вас не будет свободного вечера, чтобы прийти сюда послушать музыку, все же остановитесь перед этим театром на несколько минут в ваших прогулках по Москве. Вы увидите высокий, роскошный фасад о восьми мощных колоннах, приподнятого над Москвой Аполлона, сад перед театром и цветок фонтана в саду — кусочек города, без которого город немыслим...

Дальнейшее зависит от ваших интересов и от вашего вкуса. Вряд ли вам удастся посетить все московские театры, так что вам придется выбирать между театром «Современник», что на бульваре напротив Чистых прудов, и театром Ермоловой, что внизу улицы Горького, недалеко от современного, огромного, как корабль, МХАТа на Тверском бульваре и небольшого театра имени А. С. Пушкина тут же напротив. Здесь, кстати, пройдет международная творческая мастерская молодых деятелей театра, приехавших на фестиваль. Но на московских сценах будут идти не только спектакли — на двенадцати площадках пройдут гала-концерты национальных делегаций. Это будут представления, где танец, пантомима, вокал и цирк образуют единое целое...

И все же есть еще один театр и еще один спектакль, который я советую вам посмотреть. Театр имени Вахтангова на Арбате — тяжелый куб из серого камня, колонны, проход для пешеходов между колонн и витрин, где фотографии актеров и сцены из спектаклей. Тут идет «Принцесса Турандот» Карло Гоцци. Этот спектакль тоже стал частью Москвы — его посмотрело уже три поколения москвичей, и вряд ли кто-то в этом городе не слыхал скользящую, игривую мелодию из спектакля, в котором дурачатся и веселятся веселые и яркие герои итальянской пьесы, что прижились в Москве...

Концертные залы

В дни фестиваля в Москве пройдут десятки самых разных концертов. Например, с третьего по седьмой день фестиваля будут проходить концерты артистов тех городов, где фестиваль уже был — Праги и Будапешта, Берлина и Бухареста, Варшавы, Вены, Хельсинки, Софии, Гаваны... Если вам интересна политическая песня, то вы сможете посетить концерты политпесни; если вы интересуетесь современной популярной музыкой, то тогда вам имеет смысл прийти в международную творческую мастерскую популярной музыки, это один из лучших концертных залов Москвы — Дом концертных организаций РСФСР в Олимпийской деревне, а также во Дворце спорта «Динамо».

Огромным концертным залом станет парк культуры на берегу Москвы-реки. Здесь, на открытых эстрадах, в зелени деревьев пройдут концерты песен Всемирных фестивалей и концерты артистов социалистических стран. Здесь же, выплескиваясь с подмостков на площади и аллеи, под музыку, разносимую громкоговорителями, закружатся театрализованные представления, во время которых вы увидите мимов и певцов, фокусников и акробатов. Тут вы услышите стук тамтама и напев зурны, тягучую перуанскую песню и перебор задумчивого ситара, а также увидите пестрые, яркие, словно несомые ветерком с Москвы-реки, наряды народов мира — здесь будут праздники песен, танцев и народных ритуалов... Сюда же на концерты солидарности с народами Чили и ЮАР придут многие участники и гости фестиваля, и над вечерней рекой полетит мелодия песен протеста и мелодия гимна «Венсеремос»...

В концертных залах Москвы звучит самая разная музыка. Если вы любитель джаза, то сходите послушать группу «Арсенал» и ее лидера, саксофониста Алексея Козлова. И вот вы сидите в зале, и саксофон чертит в темном воздухе светящиеся узоры, ведет тонкую стеклянно-хрупкую линию, подобную той, что создает стеклодув таким же напряжением легких. Волны баса. Нервные очереди ударных. Теряется в накате музыки слабая ниточка саксофона. И снова на поверхности, и поет свою песню тоски и печали. И вы ощутите, как своим долгим пронзительным соло Козлов как бы объединяет зал, и зал даже дышит ритмично и плавно, словно одной грудью, глубоко, как дремлющий кит. А саксофонист, немолодой человек с бородкой, все выдувает музыку из своей серебряной сверкающей трубы с клапанами, все соединяет звезды в небе, все витает в ночи над Москвой... Если же вы ценитель и любитель фольклора и если вы хотите узнать, что такое русская народная музыка, то я советую вам посетить один из самых необычных концертных залов Москвы — Коломенское. Это исторический музей-заповедник. Но раз в год, летом, меж старинных стен и крылец плещет тут народная веселая музыка, лихая, как красный каблучок, задорная, как руки, упертые в бока. И вы увидите огромный луг-откос, зеленый, будто счастье. Внизу желтизна песка и лента реки. Яблоневый сад. Голубые просторные небеса. И яркие рубашки музыкантов, пестрые, как потеха, и круглые лица с улыбками, и крики, и пляшущие ноги. Гудят рожки на высотах, заливается свистунья-береста, бьют ладоши в такт, бегут мальчишки по зеленым коломенским взгорьям за медленно движущейся толпой музыкантов и слушателей...

Кинотеатры

Излишне говорить, что в Москве много кинотеатров высшего класса — «Россия», «Октябрь», «Звездный»... Но вряд ли даже самые лучшие кинотеатры привлекут интерес любителя кино сами по себе, важнее все-таки фильмы, которые там идут. И в этом смысле любителям кино, которые приедут на фестиваль, повезло. 12 июля в Москве закончится четырнадцатый международный фестиваль «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами». И фильмы — лауреаты Московского кинофестиваля будут показаны на фестивале молодежи и студентов.

Выставочные залы

Мне кажется, вы должны обязательно сходить в Третьяковскую галерею. Русская живопись десяти веков откроется вам здесь. Вы пройдете от метро переулком и увидите это красное здание с красивым входом, вы пройдете по широкой лестнице и очутитесь в странном мире, где время не властно над человеком. И как бы сквозь время, сквозь его дымку, посмотрят на вас таинственные глаза кавалеров и дам с картин Рокотова. Остановитесь, посмотрите. Эти люди полны жизни, в их глазах любопытство к вам, на них смотрящим, в углах их губ усмешка, словно они знают о вас больше, чем вы о них. За ними — густо-черный, как ночь, непроницаемый фон, покрытый беловатыми трещинками; они словно выступили на секунду из тьмы, они туманны, как мираж, и исчезнут опять сейчас... Смотрите! Вот надменная всадница Брюллова, живая настолько, насколько может быть жив человек; вот мгновения жизни, выпущенные к нам Константином Коровиным, как стайка разномастных птичек,— тут и дождь в Париже, и девушка, нагибающая к себе сирень, и матовый, густой блеск заварочного чайника на столе на веранде, где только что, не зная о нас, смотрящих, сели пить чай... И девочка Серова все смотрит и смотрит на нас задумчивым спокойным взглядом из своей летней комнаты, из своего времени, и руки ее, держащие персик, чего-то ждут.

Это собрание русской живописи основано купцом Третьяковым более ста лет назад. Третьяков был богатый человек и на собрание смотрел как на общественное дело. Он был воодушевлен идеей — помогать русским художникам, поддерживать таланты, способствовать расцвету русского искусства. Свою частную коллекцию он открыл для публики, считая аморальным держать картины «взаперти». Затем, за шесть лет до смерти, он и вовсе передал свою огромную коллекцию в дар Москве, полагая, что собирал картины всю свою жизнь, тратя силы и деньги, не для себя и не для своей семьи, а для Москвы и России...

Неподалеку, на берегу Москвы-реки, еще одно выставочное здание — Центральный Дом художника. Он весь из стекла и бетона, просторный, со многими залами, где могут сразу проходить несколько выставок. На газонах перед ним, на берегу реки,— выставка скульптуры. Флаги на флагштоках. Отсюда, с набережной, открывается просторный вид на Москву, на крыши ее и трубы, на широко уходящие улицы, и видны тесно стоящие, плотно сплоченные, красновато-коричневые, желтоватые, серые дома Москвы и ее серебристые крыши. Тут, в доме на берегу Москвы-реки, будет выставка молодых художников...

Музеи

Мне кажется, один из лучших музеев Москвы — музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках.

Тут, в фабричном районе, Толстой купил себе усадьбу с садом и дом, и в пять утра его будили гудки окрестных фабрик. Тут он жил наполовину по-деревенски, соблюдая порядок дня, выработанный в Ясной Поляне, наполовину по-городски — с ежедневными посетителями, с выездами дочерей на балы, в свет...

Вот вы входите в ворота усадьбы — и вас пронизывает ощущение, что это вовсе не музей, так живо все тут. Открыта дверь во флигеле, где Софья Андреевна завела издательскую контору,— видно, вышла только что Софья Андреевна, проплыла по двору прямая ее спина, белая блузка, узел волос. У ворот конура. Греется на солнце котенок, завидел людей — и юрк под дом, где живет дворник. Ходят люди — одеты немного не так, как тогда, при Толстом, но, в общем... те же люди. И вот сам дом, с лаком перил (по ним скользила его крупная, сильная, к старости вздувшаяся рука), со столом, накрытым к чаю,— сейчас из разных дверей выйдут, войдут со смехом, с переговорами дети, и последним появится он сам, в белой рубахе подпоясной, с большими пальцами рук, засунутыми под ремешок, в сапогах, которые сам себе тачал, отдыхая от писательской каторги. Под седыми кустистыми бровями глаза маленькие, серые, смотрят зорко, сердито, смущенно, ласково,— кто поймет...

Фотография семьи в коричневой рамочке. Шахматы, расставленные, готовы. Стул чуть отодвинут от стола, чтобы Льву Николаевичу удобней было сесть. В глубь дома, к кабинету, где лежит у него недописанная страничка на столе, где стоит черный диван, на котором он ложится отдыхать,— ведут двери...

В 1957 году на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве никарагуанскую молодежь представлял один делегат — Карлос Фонсека Амадор, ставший впоследствии руководителем Сандинистского фронта национального освобождения. На XII Всемирном делегация Никарагуа будет представлять молодежь страны, сбросившей иго тирании Сомосы, страны, вставшей на путь самостоятельного развития, страны, мужественно защищающей добытую свободу от посягательств империализма США. Вот такая она, эта страна — свободная демократическая Никарагуа, и такая в ней живет и борется молодежь, как этот парень на первой странице обложки.

В НОМЕРЕ:

Литературная обработка материалов А. ПОЛИКОВСКОГО, Н. ЧУГУНОВОЙ, М. ШИШКИНА; переводы С. СУХОЙ; фото Е. РОГОВА, А. ЗЕМЛЯНИЧЕНКО, А. ШОГИНА; фестивальная карта Москвы И. ТАЛАНОВОЙ

Главный редактор А. А. НОДИЯ

Художественный редактор В. В. Рыжов
Оформление И. М. Неждановой
Технический редактор Н. А. Строева

Адрес редакции: 125015, Москва, ГСП, Новодмитровская ул., 5а. Телефон 285-89-20. Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на ежемесячник.

Сдано в набор 12.05.85. Подп. к печ. 17.06.85. А00804. Формат 84×108 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 13,4. Уч.-изд. л. 5,5. Тираж 1 250 000 экз. Цена 35 коп. Заказ 861.

Издательство и типография «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

ISSN 0131—5994



Когда в 1947 году в столице Чехословакии состоялся первый в истории Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в Праге появились также первые в истории мировой почты марки, посвященные этому знаменательному событию. С тех пор к каждому форуму молодого поколения Земли в разных странах мира выпускается большое количество почтовых миниатюр.

В нынешнем году Москва во второй раз стала столицей Всемирного фестиваля. К этому событию подготовились и работники советской почты. В канун открытия XII Всемирного в почтовых отделениях страны появились новые фестивальные марки. Почтовые миниатюры, посвященные XII фестивалю, изданы и за рубежом.

На этой странице воспроизведены некоторые из почтовых марок, посвященных Всемирным фестивалям, от первого до двенадцатого.

Марки из коллекции А. СТРЫГИНА

Индекс 70781
Цена 35 коп.